

ОНИ СОЖРАЛА СТОЛИЦА: 18+

НОВОСИБИРСКЕ ПРОДОЛЖАЮТ ИСЧЕЗАТЬ РОДСТВЕННИКИ БЬЮТ ТРЕВОГУ!



АНДРЕЙ ФРОЛОВ

ЯМА НА ДНЕ КОЛОДЦА

Андрей Евгеньевич Фролов

Яма на дне колодца

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30828973

Аннотация

Говорят, самая непроглядная ночь наступает перед рассветом... Но как дожидаться рассветных лучей, если жизнь загнала в глубокий и мрачный колодец, куда отродясь не заглядывало солнце? Соглашаясь на заманчивую работу детским репетитором в необычный особняк Новосибирска, Денис на собственной шкуре узнает, что иногда единственный выход – рыть еще глубже.

У него непростое прошлое, тягостное искореженное детство и совсем не радужное настоящее. Но даже в тяжелых странствиях, не потеряв человеческого облика, теперь Денис не сможет даже представить, какие чудовищные испытания ждут его впереди и на какие жертвы придется пойти, чтобы сохранить жизнь и рассудок. Потому что подчас шелковая лента вяжет куда крепче стальной цепи. А еще за Денисом наблюдает тот, кто держит эту ленту в своей иссохшей руке, едва ли напоминающей человеческую...

Читайте жесткий, мощный и безжалостный роман Андрея Фролова о людях и нелюдях, судьбе, расплате за грехи и кровавом искуплении.

Содержание

Пролог	4
Тлеющие воспоминания	8
Возвращение	11
Поденщик	17
Человеческая гниль	21
500	30
Якорь брошен	38
Неоконченное высшее	44
Цветовой код	49
Предназначение	57
Безликий	65
Лошадка в подарок	72
Репетитор	81
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Андрей Фролов

Яма на дне колодца

Пролог

Не нужно эпитафий. Я уйду так, словно меня никогда и не было на этом свете. Без почестей и ружейных залпов. Кричать не стану, хотя те, кто выжил, наверняка попытаются меня заставить.

Ворошу угли штакетиной.

Они едва теплые, умирающие.

Только в самых крупных из них, будто в драгоценностях, светится внутри что-то алое, летне-закатное. Пройдет еще полчаса, и вставшее солнце не позволит разглядеть их пульсирующую начинку.

Я ворошу воспоминания. Столь же стремительно холодеющие, но еще не потерявшие бывшего жара.

Костюм насквозь пропитан дымом. Он въелся в мои волосы, кожу, налип на слизистую глаз, забился под ногти, застрял меж зубов, клещом забрался в царапины. Втягивая противоречивые запахи сторевшей древесины и ядовитого пластика, я вспоминаю.

Стена отчужденности, хранившая дом на протяжении черт знает скольких лет, улетучивается. Едва заметной пер-

ламутровой спиралью ввинчивается в дымные столбы. Впитывается в красные пористые кирпичи замкового забора. Трескается со звоном колокольчиков. Тает.

Значит, скоро приедут пожарные расчеты. Полиция. Машины «Скорой помощи». К тому времени, надеюсь, я потеряю последние силы и уже буду мертв.

Бреду по пожарищу. Ощущаю себя дрезденцем, выжившим после сокрушительно-затяжной бомбежки союзников. Пейзаж располагает к такого рода сравнениям. Не хватает лишь угольных, оплавленных по краям воронок. Но что-то подсказывает мне, что скоро здесь будет одна большая воронка.

Потому что сибирская земля обязательно разверзнется. Как в рассказе Эдгара По. Как с оранжевой цистерной. Заглотит протухший кусок реальности, как сом набрасывается на мясную приманку. И отныне городу будет нечего бояться.

Колосс разрушен. Значит, иммунная система привычного мира наверняка постарается как можно скорее избавиться от опухоли.

Утянет ли она выживших, если таковые есть?

Сарай, в котором мы хранили садовый инвентарь, а я нашел свою «золотую дозу», еще пышет сухим и обжигающим. Здесь воняет кипящим маслом для газонокосилок. С протяжным ревом догорают мешки удобрений. Обхожу сарай по широкой дуге, чувствуя на лице злые прикосновения огня.

Пиджак, рванный и изъязвленный в сотне мест, нагревает-

ся так, словно вот-вот вспыхнет древним пергаментом. Улыбаюсь и возвращаюсь к парадному крыльцу. Опираюсь на занозистую штакетину, словно сказочный странник.

Ощущаю себя архитектором деструкции. Высшим чином тайного незримого ордена, о котором мне рассказал старший лакей.

Я – не способный разглядеть очарование парящего орла или обнаженного девичьего бедра – в кои-то веки *вижу* настоящую красоту. Вижу. Впитываю, словно моя заскорузлая окровавленная рубашка, дым. Стараюсь зафиксировать мгновение, не упускать его.

Красота повсюду. В черных обколотых колоннах каминных труб, сиротливо оставшихся без стен. В спекшихся бесформенных комках, еще вечером бывших домашней электроникой, игрушками, одеждой и стеновыми панелями. В обвалившихся кухонных столах, чьи тяжелые каменные плиты треснули причудливым узором. Из подвала все еще тянет горелым мясом, и я понимаю, что это отнюдь не испорченный ростбиф...

Возбуждение уходит. Я остаюсь наедине со страхом, ошалелым осознанием сделанного и медно-кислым предчувствием конца. Неизбежного. Так и не уверовав, что работа исполнена и все позади.

Вдруг лишаюсь контроля над ногами и тяжело опускаюсь на колени. Прямо в черную, еще теплую массу, грязную и болотно-липкую. Поднимаю исчерченное сажей лицо

к рассветному небу, словно жду, что оно заговорит со мной. Понимаю, сколь глупы и безосновательны подобные ожидания, и снова улыбаюсь...

Человек на руинах. Одиночка на пепелище. Невидимка среди двухмиллионного города.

Кто я такой? Четыре с половиной месяца назад, когда все началось, я не мог ответить на этот вопрос.

Не могу и сейчас...

Тлеющие воспоминания

Меня зовут Никто.

Подобно Одиссею, я вошел в пещеру к циклопам. И проиграл.

Жизнь – с большой вероятностью. Душу – почти наверняка.

Искупления не случилось. Груз ужасного пожара не смог утяжелить перо богини Маат, и будущее по-прежнему туманно. Еще час назад, глядя на прожорливый огонь – своего сумасбродного, капризного и жадного ребенка, – я предполагал, что этот мужской поступок хоть как-то искупит все недоброе, что я сделал в жизни.

Теперь, глядя на смерть зверя с тысячами багряных плавников, я уже не уверен в этом.

Я всегда был никем.

Мне никогда не хватало смелости, подобно одноглазому Одину, признать, что я бросал руны раздора меж мужами и соблазнял чужих жен. Обманывал, воровал и втирался в доверие. Крал, избивал, угрожал, ходил по лезвию ножа и отплясывал на игле шприца. Лыстил, трусливо заискивал и прелюбодействовал без оглядки.

Наблюдая, как в восточном крыле перекрытия подвала проседают на минус второй этаж, я отдаю себе отчет, что хорошим человеком меня могла назвать только мама...

Жду, что небо подаст мне знак. Сообщит, что миссия выполнена. Попытка зачлась. Начинание замечено, и отныне судьба станет благосклонна.

Небо молчит, и лишь трещат в сердцевине пожара раскалывающиеся балки и каминные трубы великолепного дома. Лишь долетают издали, будто бы с другой планеты, сирены пожарных экипажей. Стонут зубастые стены, перемоловшие не одну невинную жизнь. Невинную? А поглощал ли особняк невинных?

В пачкающемся месиве я замечаю что-то блестящее. Перехватываю посох-штaketину, с чавканьем вгоняю в грязь, замешенную на золе, пепле и крови. Подцепляю и выдергиваю под око рассвета жестяной портсигар Чумакова. Смятый, пустой, раскрытый, словно рот умирающего в агонии.

Жалею ли я этого ублюдка? Достоин ли он ужасной участи хозяев? Пожалуй, достоин.

Мои губы кривятся, когда я представляю, как огонь живо пожирал Чуму.

Не судите, да не судимы будете? Теперь это определенно не про меня...

Воспоминания тлеют, обжигая сознание.

Смотрю на кованые ворота, запертые изнутри. И снова проживаю события последних месяцев. Надлом в душе начинается кровоточить, как свежий. По моей черно-серой щеке бежит слеза.

Если бы я мог что-то изменить, пошел бы на это?

Земля под ногами вздрагивает, напоминая о городе вокруг. Напоминая о лошадях, карликах, исчезнувших казаках, отражениях в зеркале и игрушках без батареек, ротвейлерах и энтропии. И я понимаю, что нет...

Возвращение

Асфальт дает мне силы.

Шкура большого города. Топать по ней – будто взбираться на спину поверженного Левиафана. Приятно и волнительно. Каждый шаг отдается в теле новым импульсом, заставляя, умоляя, подталкивая сделать следующий.

Проверял не раз: двадцать минут прогулки по земле, траве или щебневой обочине автотрассы, и я устаю, словно столетний старик. По асфальту же могу проткнуть мегаполис от корки до корки. Буду идти, пока не сносятся бронзовые башмаки. Пульс города дает мне силы.

Я иду. Возвращаюсь в место, с которого все началось. В родные пенаты. В свою персональную Итаку, в Шир, в Амбер – средоточие воспоминаний и клыкастых демонов Мнемозины. В колыбель, выплюнувшую меня в лицо злому миру с его вселенской несправедливостью, фобиями, вредными привычками, опасностями и маленькими радостями.

Слева, до сих пор скованное коркой льда, раскинулось море. Сверкает на солнце гигантской фарфоровой тарелкой. Острова вдали похожи на заплесневелые остатки великанской трапезы. Конечно, любой краснодарец в лицо плюнет при такой оценке водохранилища, пусть даже столь большого. Но для новосибирцев Обское всегда было морем. Своим, карманным, затхлым и загаженным. Но морем.

На улице теплеет с каждым днем.

Мне, собственно, все равно. Но возможность уже завтра снять насквозь пропотевший шарф греет душу. Греет приближением лета? Нет, вряд ли. Я давно не умею радоваться смене сезонов.

Обочина дороги хлопает в такт моим шагам. От пролетающих мимо машин летят комки склизкой слякоти. Левая штанина до бедра покрыта шрапнелью грязевых брызг. Иду не по встречке, бессовестно нарушая правила пешеходов, но все еще надеясь, что меня подберут и доберяют до Речного...

Раздается рев мотора, затем по серой ленте ускользает капсула зализанного седана. Новый взрыв грязи, новая порция клякс на потертой джинсовой ткани. Надежда тает. Замахрышек не подбирают, можно испачкать салон.

Ничего. Я дойду. Асфальт придает мне сил.

Когда чувствую, что начинаю сдавать, смещаюсь чуть левее. Пренебрегая правилами элементарной безопасности, шагаю по трассе. За спиной рычат машины вечно недовольных своей жизнью россиян.

Дорога змеей, апрельское солнце в лицо.

Скоро вечер, а я еще не решил, где ночевать.

Вхожу на Шлюз. Не по дуге, следуя автомобильной дорогой – напрямик, через дворы. Давно тут не был. Почти ничего не поменялось, только наверняка исчезли утки и виднеются ближе к волноломам кресты крохотной церквушки.

Нестерпимо пахнет весной, талым снегом и бензином.

Там, где сугробы эволюционировали в лужи, плавают все-селенькая пленка всех цветов радуги. Забрызгав ботинки и штанину, напиваюсь из колонки. Та скрипит, стонет, вопит на весь двор, но напор дает. Удивлен, что их еще не посносили. Удивлен, что именно эта действует и не замерзла.

Наполняю невыносимо ледяной водой «полторашку» из-под «Касмалинской».

Скидываю рюкзак, сажусь передохнуть на прохладный бетонный блок – импровизированную баррикаду от негодяев, намеревающихся проникнуть во двор многоэтажки и бросить там машину на ночь. Со вкусом закурываю одну из трех оставшихся сигарет. Дымлю не часто, но в удовольствие.

Голову кружит, я голоден, устал и почти счастлив. В такие моменты начинает казаться, что я не совсем пропащий человек. Есть и хуже.

Тут-то на бетонную чушку и подсаживается паренек.

Такой же горемыка, как и я. Лет тринадцати на вид. Но это только на вид, если в глаза не заглядывать. А там... Я отвожу взгляд. Вспоминаю, как лет шесть назад подрабатывал в больнице Горно-Алтайска. Был там один дед, ветеран Великой Отечественной. Матерый, иссеченный морщинами, суровый и крепкий, но уже подкошенный близкой смертью. Много повидал дед этот. Рассказывать не любил. Но уж если и вспоминал войну, то только кровь и жестокость. Без соплей и сантиментов.

Кошусь на парнишку, сидящего рядом. И понимаю, что

у него точно такие же глаза. Глаза человека, научившегося смотреть сквозь грани мультивселенной. Увидевшего нечто, не доступное описанию.

Он просит сигарету. Я делюсь, несмотря на скудность запасов.

В нашей доле нельзя не поделиться.

Рассматриваю его поношенные тряпки, дырявую лыжную шапку. Даю прикурить и не спешу донимать расспросами. Он запанибратски благодарит и сообщает, что у него есть история, от которой в Голливуде точно свихнутся.

Пожимаю плечами, готовясь выслушать. Невольно вспоминаю Форреста Гампа. Не фильм, хоть и тот неплох, но исходную книгу Уинстона Грума, где обдолбанный Форрест травит свои занятные байки...

Да, я читаю. Много и разное. Сержант Пэ – отмороженный барнаулец, в свое время научивший меня делать уколы между пальцами ног, – пафосно называл наш круг общения «прогрессивными психонавтами». Хиппи XXI века, пытающимися расширить границы сознания и избежать тисков системы. Конечно, это были пустые оправдания собственных слабостей. Но какое-то время я тоже считал себя «прогрессивным». А потому читал.

Именно это удержало меня от передоза и вечного забвения. От тюрьмы, из которой не возвращаются. От нашествия легионов душевных мук. Сейчас это удерживает от *падения*. Не знаю, куда... да и есть ли куда дальше? Но ощущаю – есть.

И потому держусь за книги.

Обыватель подавится утренней кашей, если выяснит, как много их можно найти на свалках и дворовых мусорках возле подъездов. Старые издания, новые издания. С вырванными страницами, следами от подошв на обложках, рванными переплетами. Люди больше не берегут книги. Выбрасывают, будто фантики от съеденных конфет. Платон, Джеймс, Кант, Толкиен, Хокинг, Кристи, Дюма и Леонард. Многие другие. Я искренне радуюсь новому знакомству. Искренне огорчаюсь расставанию: с моим образом жизни большой багаж – недопустимая обуза.

Сейчас в рюкзаке «Волшебник Земноморья». Издание старое, отвратительного перевода, но, слушая шлюзовского парнишку, я отчего-то сразу вспоминаю про настоящую магию и природу вещей. И солнечный свет становится бледнее. Стараюсь не подавать виду, курю и слушаю.

Он говорит без умолку минут двадцать. Кругом ходят люди, у которых один наш облик вызывает приступы брезгливости и тошноты. Нам плевать. Мы мерзнем, но делаем вид, что обоим хорошо.

Паренек говорит. В его истории есть существа, пьющие кровь. Есть существа, один взгляд которых может довести до безумия. Есть смельчаки, охотящиеся на этих существ. И есть любовь, от которой стекленеют вены. Есть измены, предательства и разбросанные по снегу кишки. По словам парнишки, события произошли здесь, на Шлюзе, несколько

лет назад. *Действительно* произошли.

Вежливо киваю.

Нельзя понять, поверил ли я, или просто соглашаюсь с его точкой зрения.

Такие, как мы с этим подростком, крайне непредсказуемы. Можем обидеться в мгновение ока. Достать заточку. Или кастет. Никто не станет оплакивать меня, подрезанного за неуважение к рассказчику. О том, что во дворе валяется жмурик, в полиции узнают только утром...

Парнишку мой жест удовлетворяет.

Внутренне я соглашаюсь, что на одной из граней необъятного количества реальностей такое действительно могло произойти. Отдаю ему пачку с последней сигаретой. Местный бродяжка не благодарит, лишь чуть склоняет голову.

– Если что и очищает, то это огонь, – говорит он и растворяется в наступающем вечере. – Но его жар не всегда достаточно силен...

Вспоминаю эту фразу позже. Значительно позже. Стоя на коленях посреди адского костровища на месте дома, в котором прожил до конца лета.

Я захочу быть прощен. Но о прощении – не сейчас.

Поденщик

Найти временную подработку все труднее.

Устроиться помогает умение разумно излагать свои мысли и отсутствие тяги к бутылке. Мешают гастарбайтеры. Не знаю уж, легальные или нет, но они сейчас везде. А если казахам, узбекам или таджикам перебежать дорогу, то можно проснуться в канаве с отверткой в боку.

Теперь это их город. Город анаши и насвая.

Город азиатского рокотания, все чаще заглушающего русскую речь. Теперь это их подряды на чистку улиц, строительство домов, работу грузчиком, ассенизатором, курьером, кондуктором или водителем троллейбуса.

В свары не лезу. Если вижу, что теплое место занято, просто ухожу искать другое.

Рук не опускаю, пояс подтягиваю все туже.

Тем не менее на Шлюзе я провожу две ночи.

Сначала подменяю заболевшего грузчика в крупном продуктовом магазине. Некстати заболевшего, с точки зрения директора магазина, и совсем кстати – с моей. Работаю быстро и исполнительно, на брань не реагирую, ничего не ворую, стараюсь поменьше говорить.

Постоянный персонал косится, шепчется, сплетничает. Познавшие жизнь пухлотелые кассирши обсуждают, как тридцатилетнего парня угораздило упасть так низко. Но не

гонят и даже угощают домашними пирожками.

Сплю в конуре, где хранятся разобранные картонные коробки, сложенные неустойчивыми стопками. Почти не мерзну и даже немного читаю при слабом свете из дверей.

На вторую ночь остаюсь в частном доме на самом выезде из микрорайона.

Бабка и дед иссушены так, что их может запросто снести сильным порывом ветра. Но упорно лезут в огород, разбрасывая лопатами непрошибаемо-лежалые сугробы и собирая ветвистый мусор.

Предлагаю помочь.

Сначала меня пытаются прогнать. Затем просто ворчат. Я не отступаю.

– Раскидаю снег, соберу мусор и сожгу, – предлагаю я. – Дадите, сколько сможете.

– Нисколько не сможем, – отвечают мне. – У самих денег нет.

Все равно помогаю, сам не особенно понимая, почему. Просто беру грабли и начинаю работать, а дед не спешит поднимать чужака на вилы. За помощь меня кормят макаронами с тушенкой. В консервах почти нет мяса – одна соя, комковатый жир и говяжья шкура, но я ем с аппетитом. Потом моюсь в старой, рассохшейся и покосившейся баньке без электричества. Чищу джинсы и куртку.

Частный сектор окружают многоэтажки. Тесно, кольцом, нависая. Старые панельки и новые кирпичные с просторны-

ми квартирами, позволить которую себе может только избранный.

Стоя на крыльце умирающего дома, я смотрю на россыпи ярких окон и мечтаю о собственном жилье. Чувствую себя обнаженным, чувствую себя под прицелом снайпера. Два десятка дворов отлично просматриваются с верхних этажей. В считанных метрах шумит автомобильная дорога.

В очередной раз поражаюсь упорству людей, держащихся за *свою* землю. Пусть даже насквозь пропитанную выхлопными газами, с тоннами канцерогенов, оседающих в побегах картошки и моркови. Точно знаю, что ядовитый урожай старики сами есть не станут. Продадут на микрорынке доверчивым горожанам, а сами купят нормальных овощей. Впрочем, нормальных ли? Китайским фермерам в новосибирских теплицах плевать, чем будут травиться их покупатели, лишь бы огурец набирал размер...

Утром помогаю поправить стену заваливающегося набок сарая.

За это со мной расплачиваются двумя жареными яйцами и ломтем черного хлеба. Еще суровые и неприветливые вчера, сегодня старики провожают меня едва ли не со слезами. Настойчиво и трогательно пытаются всучить сто рублей. Я наотрез отказываюсь и ухожу.

До города добираюсь долго.

В маршрутку к частным перевозчикам без денег не сядешь, их алчность жалостью не пробить. Да и просить не

люблю. Заработанное в магазине берегу на продукты.

Жду муниципальный транспорт, а ходит он нечасто. Сажусь. Честно говорю кондуктору, что денег нет, извиняюсь. Она дородная женщина с бородавкой на щеке. В ее рыбьих глазах – рост цен на тарифы ЖКХ, скорый выпускной у сына и жалость по ушедшему к молодухе мужу. С полным отсутствием эмоций тетка высаживает меня на следующей остановке. Следующая – добрее. Вздыхает, машет рукой. Придирчиво осматривает одежду, не испачкаю ли пассажиров.

– Совести у вас нет, – тихо говорит она.

Качает головой и уходит обслуживать клиентов, потеряв ко мне всякий интерес.

Речной встречает суетой, от которой я отвык.

Окунаюсь в нее, как пересекший пустыню бросается в оазис. Рассматриваю прохожих, восхищаюсь красивыми дорогими машинами, старательно огибаю ленивые полицейские патрули.

Солнца почти нет, сегодня его укутали облака. Лужи схватились хрустким льдом. Я радуюсь вылетающему изо рта пару, словно ребенок. Пытаюсь выдувать колечки. Ухожу вверх по Восходу, никуда не спеша и предаваясь воспоминаниям.

Человеческая гниль

Асфальт дает силы идти без оглядки.

Впав в пешеходный транс, я оставляю за спиной один район за другим. Любуюсь яркими витринами бутиков и кофейнями, куда мне вход заказан. Примечаю местных бездомных, попрошаек, деловых на тонированных «девятках», цыган и мусорки. Резиновые молотки подошв вбивают в плоть Новосибирска гвозди моей судьбы. Я не верю в предназначение, но слепо подчиняюсь силе, влекущей меня вперед.

Миную «Глобус» со стеклянным шариком-кофейней по соседству. Светло-серый дом-парусник смотрит на прохожих знакомыми круглыми окнами-иллюминаторами. Когда-то они оставили у маленького Дениски впечатление куда более яркое, чем спектакли, идущие на сценах театра.

Площадь Ленина обхожу дворами и закоулками, там слишком много патрулей. Возле одной из кофеев замечаю девушку с бумажным стаканом. Она садится в дорогую иномарку, одновременно тараторя по телефону, и оставляет напиток на бетонном парапете. Дождавшись, пока забывчивая уедет, наслаждаюсь настоящим капучино с корицей.

Затем греюсь в павильонах Центрального рынка.

Умудряюсь стащить с прилавков несколько яблок, безвкусных и надраенных парафином. Подработку никто не предлагает. Местные бомжи косятся злобно, почуяв возмож-

ного конкурента. Напитавшись запахами сухофруктов, специй, орехов и заветренного сырого мяса, покидаю торговые ряды.

Бреду на восток.

Выхожу на Ипподромскую, шокированный тем, как все изменилось за время моего отсутствия.

Прорываясь сквозь весеннюю слякоть, город рычит и бахтается, решая повседневные проблемы. Ему кажется, что в их решении кроется тайна настоящей жизни. Смысл существования. Бытие.

Бездумно, пытаясь интуитивно определить место ночевки, сворачиваю на север.

В районе Плехановского жилмассива бродягу пытаются остановить двое «четких пацанчиков». Моложе меня, сильнее меня. Но столь же опустошенных наркотиками и бухлом. Может, для того, чтобы ограбить. Может, просто хотят поиздеваться.

Я почти не умею драться. Но если приходится, делаю это с обреченностью загнанного животного. Спросите у шрамов на моем боку. Спросите у пулевого отверстия в плече. Спросите у левой руки, покрытой сеткой ножевых отметин.

Гопники что-то понимают. Может быть, расшифровывают в глазах.

Инстинкты этих зверей развиты необычайно остро. Парочка сдвигает кепки, напаяленные не по сезону, на бритые затылки. Презрительно сплевывает на грязный тротуар под

мои ноги, но отстают.

— Человеческая гниль, мля, — бормочет тот, что повыше. — Давить таких надо...

Уходят быстро, и я знаю, что если задержусь на их территории, избиения не миновать. Слышал немало историй, когда нашего брата запинывали до смерти просто забавы ради. И даже заживо сжигали...

Сворачиваю в частный сектор.

Где-то на его дальнем конце район должен быть отсечен Ельцовкой. Осталось ли от речки хоть что-то?

Как и все вокруг, «нахаловка» изменилась — почти не сохранилось стареньких бревенчатых домов, больше напоминающих советские дачи. На их месте встали кирпичные домики, напрочь лишенные вкуса. На первых этажах многих построек — шиномонтажки; где-то заметны объявления о саунах и даже гостиницах. Примерно в таком районе я впервые попробовал жареху. Нюхнул клея. Неумело, сонно и болезненно стащил девичьи трусики.

До Гусинобродской барахолки далеко, но я рассчитываю найти цыган и здесь.

Если повезет, получу временную работу. Бегунки зарабатывают немало, вполне сопоставимо с риском. На него я готов.

Сердце все еще стучит после встречи с дворовой шпаной. Улицы, никогда не видевшие асфальта, изгибаются. Грязевыми каньонами заманивают меня все глубже и глубже.

Отсекают шум машин, погружают в атмосферу уединения и микромира.

Я в глухой деревне самого сердца сибирской столицы.

Сюда с трудом пробираются врачи. Сюда почти не заглядывают участковые. Депутаты не заходят в эти края даже во время избирательных кампаний.

За заборами надрываются разномастные псы. Апрель напоминает, что он отнюдь не летний месяц, ударив шквальным ветром. На столбах и крышах пророчествуют пепельные вороны. Я вспоминаю недавнюю жизнь на Алтае, где мне приходилось рогаткой бить этих дурных птиц, чтобы сварить себе котелок похлебки. Я вспоминаю Алену, и мне вдруг становится очень плохо.

Нет, не от потерянной любви. Такие, как я, в полной мере отдают себе отчет, что любовь – удел сытых. Но что-то накалывает, вгрызаясь в душу. На фоне усталости я не замечаю, что это было предчувствие...

Останавливаюсь, перебирая месяцы ушедшей зимы, словно четки.

Мысли похожи на камни, покрытые болотной тиной. Тяжелые, дурно пахнущие, покрытые скользкой пленкой – выскальзывают из рук, не дают себя рассмотреть. Закуриваю, пряча пачку в желудке старого рюкзака. Прислоняюсь к щербатому бетонному столбу и смотрю на скособооченные хибары.

В этот момент я и замечаю дом. Нет, не так... Я замечаю

Дом.

Разворачиваюсь и ухожу дальше, выискивая притон или брошенный сруб, в котором можно переночевать. Но так я поступаю в иной истории. Более счастливой и легкой...

Курю крепкий «ЛД» и смотрю на Дом. Он выделяется среди остальных построек примерно так же, как дирижер Оперного театра среди плехановских пацанчиков. Стройный, четырехэтажный, он отчетливо напоминает средневековый замок.

Башенки увенчаны острыми зелеными черепичными крышами. Бельмами слепых глаз в низкое весеннее небо таращатся диски спутниковых антенн. Темно-оранжевые кирпичные стены покрыты сухими плетями плюща. Окна узкие и зарешечены даже на самых верхних этажах. Территория обнесена багровым забором – неприступным, метра четыре ввысь, да еще и с крохотными железными пиками поверху. Перед воротами пятак заасфальтированного подъезда. На створках кованые завитки и цветочки.

Подворье огромно, это заметно по длиннющему забору, квадратом опоясывающему минимум сорок соток земли. Наверняка за ним расположены гаражи, сараи, летние беседки и постройки для прислуги. Да, у такого дома просто обязана быть прислуга. Силами одной семьи, даже цыганской, столь масштабное хозяйство не вытянуть.

Словно супергерой из комикса, я смотрю сквозь камни ограды. Вижу щебневую подъездную аллею, живые изгоро-

ди, еще мерзлые и покрытые шапками снега. Фонарные столбы, перила балконов, уютный сад на южной стороне поместья.

Особняк отличает вкус, изысканный и тонко-выверенный.

Человек, построивший такое, не пожалел ни времени, ни сил, ни денег. Вот только место выбрал странное. Столь царственные коттеджи привычнее видеть в новых поселках, где сосед зарабатывает как минимум не меньше тебя. Там, где живут чиновники, бизнесмены и другие бонзы, привыкшие распоряжаться жизнью, словно она создана только в их усладу. Возможно, тут действительно обитает цыганская семья. А может, и не одна. Торгует наркотой, «держит» округу. Хотя бароны обычно склонны к вычурной лепнине, богатой безвкусной роскоши, аляповатости и китчу. Этого о Доме сказать никак нельзя...

Странное дело... Я вдруг замечаю, что особняк ничем не выделяется на фоне неказистого окружения. Он будто *теряется* среди развалюх. Невидимый великан среди уродливых карликов. Позволяющий обратить на себя внимание, только когда сам этого пожелает. Кажется, что его тут и вовсе нет...

Догоревшая сигарета начинает вонять паленым фильтром, обжигает пальцы. Бросаю ее в комья застывшей грязи, привычно растапывая. Я удивлен собственным чувствам. Удивлен тому, как сильно дом приковал мое внимание.

Обыкновенно я не такой. Не умею различать красоту,

стиль или очарование.

Смотрю на людей, но вижу лишь старение и болезни, дурновкусие в одежде. Смотрю на машины, но вижу только грязь на колесах и ржавчину кузовов. Смотрю на самолет и замороженно подсчитываю его шансы упасть на город. В картинах древних художников вижу только растрескавшуюся краску, пыль и разложение. В любых постройках – трещины, разошедшаяся штукатурка и кривизну стен. В образах еды мне приходят лишние углеводы, холестерин и калории, полное отсутствие вкуса. Я всю сознательную жизнь бегу от красоты...

Но особняк иной. Он заставляет увидеть. Он позволяет увидеть.

Совсем не сразу я замечаю человека у ворот. Это парнишка лет на десять моложе меня. Курит, с хозяйским видом привалившись к калитке в массивной железной створке. Впрочем, одного взгляда на него хватает, чтобы понять – сигареты, наркотики и алкоголь перекроили лицо, лишив настоящего возраста.

– Эй, бродяга, работа нужна? – спрашивает напрямую.

Я соображаю, что последние пять минут он изучает меня с противоположной стороны улицы.

– Что делать? – интересуюсь в ответ.

Ветер забирается под воротник, колет и кусает.

Не спешу двигаться с места. У богатых людей, живущих за высокими каменными стенами, бывают весьма своеобразные причуды. Задумываюсь. На органы я давно не годе. Но про-

ституткой не стану, даже если начну дышать от голода...

Парнишка отлепляется от створки, и я сразу замечаю, какой он угловатый и дерганый. Слово под одежду напихали металлической стружки. Или натерли кожу строительной стекловатой.

Смотрю, присматриваюсь. Нос ломаный, глаза бегают, лицо бледное, и это не от мороза. Тут не обошлось без коктейля. «Винт», курительные смеси, химический пластилин. Ломки, как таковой, уже нет. Но эфедриновый кукловод продолжает дергать за ниточки, управляя телом парня.

– Поденная работа, – сообщает тот с гордым видом, и я понимаю, что он такой же наемник. – Уборка мусора, строительные работы, ремонт, рытье канав. Бассейн, нах, вычистить нужно. Тут делов хватает, не сомневайся. В садовничестве смыслишь?

– Доводилось. – Я чувствую, что настроение улучшается. Дом за оградой всем своим видом намекает, что платить здесь будут больше, чем на Хилокском рынке.

– Бухаешь? Тут запрещено...

– В завязке.

– Красава, нах. Употребляешь.

Это даже не вопрос, это констатация, требующая официального подтверждения.

– Сейчас – нет. Ты здесь за прораба?

Вопрос вызывает у паренька приступ невольного смеха. Колкого, неровного, ребристого смеха.

Качает головой в сторону особняка.

– Не-е, нах такое счастье, – тянет вяло, скрывая злость, – за старшего у нас Эдик. Меня узнать послал.

Осматриваю дом в поисках видеокамер. Они скрыты, я не обнаруживаю ни одной.

– Давно тут? – Прощупываю скрытые рифы фарватера.

– Второй месяц, – сообщает дерганый, с гордостью улыбаясь. – Сорок дней, как «сухой». В тепле и сытый. Платят норм. Так что, нах, будешь харю кривить или согласен?

Я согласен. Конечно, согласен. В моих условиях не «кривят, нах, харю». В моих условиях сами умоляют о поденной работе, способной наполнить карман хотя бы парой сотен рублей.

Пересекаю улицу, отмечая ее полную безлюдность.

– Пашок, – представляется парнишка, открывая калитку.

Жму его слабую тощую кисть. Прохожу в ворота, не замечая, что кованые цветки и завиточки на их поверхности в действительности – эмоциональные греческие маскароны и переплетения змей.

Отрабатываю предстоящий ужин.

Разбираю немислимую гору досок, дверей и старых оконных рам, сортируя мусор в три разные кучи. Темнеет. Двор наполнен абсолютной, нереально-вязкой тишиной, в которой стесняется подвывать даже ветер. На четвертом этаже, под одной из островерхих крыш, зажигаются два окна.

Я вспотел, утомлен, хочу есть и курить. Но доволен.

Поверх синтепоновой ветровки, приросшей к моему телу за половину ушедшей зимы, – рабочая куртка-спецовка с капюшоном. Совершенно новая, плотная, но не жаркая. Со светоотражающими полосами на спине и рукавах. Как у настоящего рабочего в настоящей бригаде. Задумываюсь, позволят ли мне оставить одежду себе?

Такую же куртку носит и Пашок, набрасывая ее на крючок у калитки, когда выходит наружу. После облачения он запирает ворота на висячий замок, отводит меня на задний двор и без лишних прелюдий определяет фронт работ.

– Отработаешь на ужин, – говорит тощий, великодушно протягивает мне сигарету. Глаза сверкают в лихорадке мучительной завязки, но пальцы почти не дрожат. – А там поглядим...

Уходит, снабдив краткими инструкциями и необходимым инвентарем.

Я бросаю прелые доски в растущую кучу, чувствуя гнутые гвозди через плотную ткань строительных перчаток. Перекладываю битое стекло в другую. Ворочаю гниющие двери, стараясь не напороться на ржавый саморез.

Работа кажется довольно нелепой, и какое-то время я трачу на то, чтобы понять, какое именно строение было разобрано. Не нахожу ответа и продолжаю следовать распоряжениям дерганого. При этом постоянно оглядываясь на особняк. Не могу не смотреть. Он потрясает. Изгибами, очертаниями, томным прищуром бойниц. Приковывает взгляд с первой секунды знакомства...

Шаг назад...

Я внутри двора, оставляя «нахаловку» где-то в ином мире. Едва успевший осознать, какой прекрасный шанс заработать выпал мне совершенно случайно. Ошалелый, иду за Пашком от ворот. Чуть не сворачиваю шею, когда плитчатая дорожка изгибается и протыкает голую яблоневою рощу. Не могу наглядеться.

При внимательном изучении домище оказывается не цельнокаменным.

Часть башен, гармонично вплетенных в блоки трех казематов, действительно собраны из кирпича. Кирпичными же являются несколько каминных труб, прицелившихся в нависающий над городом апрель. Но хватает и бревен, и пенобетонных блоков, и дощатой облицовки. Из чего я делаю вывод, что строили не за один присест.

В доме не меньше двадцати комнат. Не меньше двух кухонь. Трех каминных залов. Пяти балконов. О том, что скрывает подвал, мне не хочется и думать.

Крыши одинакового изумрудного цвета, но черепица отличается по материалу и фактуре. Окна не пластиковые, как сейчас популярно, – использовано только настоящее дерево. Богатое и темное настолько, что кажется камнем. Проемы надежно охраняют витые железные решетки. Кое-где заметны витражи. Настоящие, ручной работы, такое можно определить даже снаружи.

Водосточные трубы жестяные, оцинкованные, пластиковые и даже латунные. На одном из коньков восседает крохотная гранитная горгулья, и я уверен, что найду в убранстве дома еще не одно аналогичное украшение. Заметен пандус на нулевой этаж и двойные гаражные ворота. Заметны запасные входы, их не менее двух. Архитектура центрального подъезда поражает изяществом и простотой, невольно напоминая особняки XIX века.

Вокруг замка сад. Яблони, клены, вишни.

Понурые, окоченевшие, еще не оттаявшие, но любовно закутанные в утепляющую ткань. Невысокие живые изгороди, сейчас похожие на валы из колючей проволоки. Они разгораживают пространство с лаконичностью и мастерством японского созерцателя, расчертившего сад камней.

Виднеется пустой бассейн под открытым небом. Беседка, наличие которой я подозревал. Сарай, грубый и крепкий.

Одноэтажный дом, с равным успехом способный оказаться и летней кухней, и бараком для поденщиков...

Гора мусора, сортируемого мной, на фоне всего этого благолепия смотрится уродливой язвой. Артефактом иного, менее благополучного мирка. Пришельцем, которому тут не место. Искусственной инсталляцией, памятником бардаку среди умиротворения и достатка.

Продолжаю недоумевать, откуда она взялась. Продолжаю исправно откидывать доски и рамы, стараясь не пораниться. Не выходит – тонкий искривленный гвоздь впивается в мизинец правой руки, заставляя уронить груз. Тот грохочет, чуть не угодив по колену. Отскакиваю.

Ругаюсь, сдергиваю перчатку и присасываюсь к ране. Сплеываю. Бледно-розовая слюна пачкает грязно-серый снег газонов. Снова тяну кровь губами. Плюю. За время странствий мне довелось повидать немало людей, склеивших ласты от столбняка. Войти в их сонм я не желаю.

Словно реагируя на мою оплошность, из-за юго-западной башни появляется Пашок. Походка вороватого жигана. Из-под темно-синей вязаной шапочки выбился каштановый чуб. У него привычка облизывать десны, не разжимая губ, будто постоянно проверять, не застряло ли чего меж зубов. От этого и без того подвижное лицо ходит ходуном, строит гримасы, которых сам парнишка даже не замечает.

– Хорош на сегодня... – Оценивает рассортированный хлам с видом человека, мечтающего спалить всю эту гору

к чертовой матери. – Пошли, нах, жрать... Кстати, тебя как звать-то?

– Денис, – отвечаю послушно, но для традиционного рукопожатия протягиваю левую ладонь – мизинец правой все еще на языке. – Кормежка за счет хозяев?

– А то, – ухмыляется Пашок и удаляется.

Иду за ним.

Он плут и наверняка преступник, но тут – почти старший, подаривший мне заработок. Вдруг осознаю, что на дворе уже стемнело, причем окончательно. На подъездной аллее зажглись сказочно-желтые фонари. Особняк вспыхнул десятком окон, изнутри доносилась едва слышная музыка.

Уютный одноэтажный дом – не барак для временных работников, скорее амбар.

Понимаю это, когда парнишка ныряет на неприметную лестницу главного строения, летом до абсолюта замаскированную свисающими косами плюща. Спускается по короткой лестнице, отпирает тяжелую подвальную дверь, пропускает внутрь. Понимаю, что провонял потом, отчего вдруг становится неуютно. Стены из светло-серых бетонных блоков принимают в свою утробу. Ведут коридором, ответвления которого прячутся в полумраке.

Во мне играет оркестр безразличия.

Душа, как намокший барабан, стучит гулко и пусто. Нервы – провисшие струны контрабаса. Сердце стало фаготом, исполняя вспомогательную партию. Где-то вдали жалобно

пиликает скрипка предчувствия и тревоги. Ее перебивают саксофонные трели легкой поживы.

Мой мир – пустыня прозеваемых возможностей. В полной тишине по ней караваном бредут перекасти-поле упущенных моментов, нереализованных желаний и профуканных шансов.

Жалеть себя погано, но иногда я зацикливаюсь на этом. Моделирую, как могла бы повернуться моя жизнь, поступи я так, а не иначе. Не разругайся с любимой. Не пробуй наркотики. Не укради свою первую коробку обуви из магазина в соседнем дворе. Вовремя скажи «не уходи» вместо того, чтобы озлобленно замкнуться в себе и нервно курить одну за другой. Заметить взгляд человека, действительно нуждавшегося во мне.

Эту возможность я упускать не намерен. И сам загоняю себя в ловушку.

Вдруг понимаю, что работал без перерыва несколько часов.

Башмаки превратились в свинцовые гири, голова наполнилась жидким чугуном. Пять часов без перерывов и вопросов. Я послушен и исполнителен, как микроволновая печь.

Оба разуваемся у порога.

– Твоя койка, – говорит Пашок, и я возвращаюсь в собственное тело. – Пожри и спи.

Он стоит над простой и крепкой кроватью в темной просторной комнате. Тепло, немного душно. Лежак застелен

старым, но недавно выстиранным бельем. Под ногами светло-зеленый ковролин, затертый, но чистый.

Чувствую, что, кроме меня, здесь есть кто-то еще. Не один – во мраке угадываются очертания других кроватей. Выставленных рядами, как в казарме. Слышу запахи человеческих тел, слышу шорохи, дыхание и пердеж. На нескольких койках неподвижные тюки из плоти и крови. Минимум четверо. Спят. Или делают вид, что спят.

Пашок зажигает крохотный ночник в изголовье.

Свет тусклый. По сравнению с ним индивидуальные светильники в вагонных купе – хирургические лампы. Вижу тумбочку, узкий жестяной шкафчик для одежды. За пределами светового круга, четко отсекающего койко-место, злая древняя тьма. В ней могут водиться саблезубые тигры. И даже кое-что пострашнее...

– Держи, братюня, заработал. – Он сует мне в руку купюру. – Эдик сказал, аванс. Останешься, получишь больше.

Уходит в дальний конец помещения. Во мглу.

Скрипит кровать, когда парнишка садится и начинает расшнуровывать ботинки.

На моей тумбе поднос. На подносе дымящаяся тарелка. В ней паста. Не лапша по-флотски, а настоящая паста – с пузатыми макаронными трубочками из лучшей пшеницы, нафаршированными рубленным мясом и овощами. Соус. Чеснок и тмин. Я едва успеваю бросить спецовку и куртку в шкаф, волком набрасываюсь на еду. Вилка пластиковая, но

меня это не останавливает.

Спустя три минуты тарелка пуста. Через край, стараясь не хлюпать, допиваю соус.

Только теперь соображаю, что в левой руке все еще зажаты деньги. Недоверчиво разжимаю кулак, рассматриваю красную бумажку. Пятихатка. Аванс.

С трудом удерживаю торжествующий вопль. Привычно прячу деньги в трусы. Вечер бесполезной работы приносит хороший куш, ужин, ночлег и кров. Что рассмотрел во мне прораб, по-человечески приняв в свою команду поденщиков?

Приказываю себе успокоиться и не спешить. Если за пяти-сотенную в день мне предстоит до лета перекладывать хлам с одной лужайки на другую – я за.

Сбросив армейские ботинки и избавившись от одежды, торопливо лезу под одеяло.

Еще не успеваю коснуться подушки, как сплю.

Якорь брошен

Утро растерзано сигналом будильника.

Это настолько непривычно, что я подскакиваю, машинально нащупывая в кармане импровизированный кастет. Вспоминаю, что оружие давно отобрали менты, а одежда скомканным пукон покоится под кроватью.

Трель из-под потолка перестает казаться будильником. Теперь напоминает сирену или заводской гудок. Понимаю, что льется она из небольших колонок, развешанных по углам. Сажусь на жестком, продирая глаза и осматриваясь. Тепло ломит, но я гоню боль. Казавшееся сном – работа, деньги, ужин, – вдруг щелкает в мозгах осознанием, внезапно оборачивается реальностью.

Помещение просторнее, чем казалось в полутьме.

Шесть на десять метров, если не больше. И вправду заставлено койками, по-армейски одинаковыми и простыми. Рядом с каждой тумба и шкафчик. Пять кроватей не застелены, сиротливо белея запятнанными матрасами. Еще две аккуратно заправлены, в том числе и та, на которой спал Пашок. Одна выделяется – стоит в отдельном закутке, отгороженном плотной шторой до пола. Еще на трех ворочаются, неохотно пробуждаясь, люди. Горемыки, подобные мне. Наемные работники одноразового использования, выбросить которых проще, чем перевоспитать или отмыть.

Стены грубые, из бетонных блоков, на один слой выкрашенные в бледно-голубой цвет. Верхний свет общий, зажигается одновременно с сигналом пробудки. Трубки под потолком щелкают, гудят, набирают накал. В динамиках начинает играть радио, и по словам диджея я понимаю, что сейчас семь утра...

Рослый молодой человек встает с лежанки одним рывком. Сдергивает зеленую майку, в которой спал, остается в одних семейных трусах. Удаляется в соседнюю комнату, не позволив рассмотреть лица, только мелькает бритый затылок. Из помещения, где он скрылся, тянет влагой и мочевиной. Шумит душ.

Через две пустые койки от меня кряхтит женщина.

Нет, не так. К ее возрасту уже не применимо понятие «женщина», сколь бы цинично это ни звучало. Старуха, причем древняя. Сколько ей лет? Сто? Больше? Сухое морщинистое лицо неподвижно, как у индианки из вестерна. Кажется, что худая бабка даже не сможет выбраться из-под одеяла.

Но впечатление обманчиво, и вот она уже бодро набрасывает халат поверх ночнушки. Отправляется следом за мужчиной. На меня не смотрит, будто мы проснулись не в общей спальне, а случайно встретились на этаже огромного корпоративного здания. Поденщик-планктон. Звучит оригинально.

Из противоположного угла комнаты меня изучают. Цеп-

ко, пристально, оценивая вес, рост, возраст и предположительную угрозу.

Щуплый мужичок в годах, одетый в застиранную майку-алкоголичку и вытянутые трико, угрем выскальзывает из-под одеяла. Потягивается, шурша по ковровину босыми ногами. На плечах, перечеркнутые бретельками, убогие зоновские татуировки. Буквы, надписи, паутина, фигуры людей, узоры, холодное оружие и звездочки. Они же украшают пальцы, кисти, запястья. Наверняка не меньше партаков и на спине уркагана.

Приближается, садится на соседнюю кровать.

На вид ему лет шестьдесят, но по глазам понимаю, что в действительности значительно меньше. Что поделать, жизнь не щадит такого сорта людей, высушивает изюмом и лишает природной легкости.

– Валентин Дмитриевич Чумаков, – представляется он, протягивая жилистую руку. Руку человека, с одинаковой легкостью способного подтасовать колоду или воткнуть в пузо нож. – Для друзей – Валька или Чума.

Манера речи не совсем вяжется с прибалтненным образом, но я не позволяю себе расслабиться. Вспоминаю про мимирию и яркий фонарик во лбу глубоководного морского черта. Этот черт из породы «сухопарая тюремная борзая». На лбу редющие волосы прикрывают лысину тонкими смешными прядями, в кармане трико – очки.

В конце концов, я тоже бомж, читающий Кафку.

– Денис, – отвечаю кратко, изучая смуглое морщинистое лицо. – Для друзей – Диська.

– Диська, – подытоживает Чума, улыбаясь без эмоций. – Новенький. Вчера пожаловал?

Молчу, все понятно и так.

– Не тушуйся, – слышу следом. – Помощь понадобится, обращайся. Мы тут стараемся вместе держаться.

Я безволен, как выпотрошенный кролик. С тринадцати лет все мои попытки удержать подле себя близких людей заканчивались титаническими провалами. Я мог биться в кровь, расшибаться в лепешку. Умолять и опускаться очень низко. Терять самоуважение и почитание посторонних. Цепляться из последних сил.

Это ни к чему не приводило – люди покидали меня. Бросали.

Оставляли одного. В итоге пришло понимание, что это мой фатум. Что любые усилия ни к чему не приводят. Последнее слово не за мной, и я плыву дальше на утлой одноместной лодчонке. Куда заносит течение, там и бросаю якорь. Уже семнадцать лет я безволен, как мертвый еж на обочине трассы.

– Мы, это кто? – спрашиваю невольно, не удержав слов за зубами.

Чумаков с пониманием кивает.

Вынимает из кармана трико старенький серебристый портсигар.

– Работнички, кто ж еще... – Вставляет в зубы папиросу, но прикуривать не спешит, катает в сухих губах. Взгляда не спускает, словно я не в общей комнате, а на знакомстве со смотрящим тюремной камеры. – Тот, что в душевой, это Санжар.

У меня дергается веко, что не укрывается от Чумы.

– Я тоже черненьких не балую. Но Санжар – нормальный мужик. Увидишь. Бабка эта, – короткий кивок на пустую койку за моей спиной, – Виталина Степановна. Совсем старая, девяносто лет. Держат тут за «зеленый палец», по саду хлопочет. Пашка ты уже знаешь, а Эдик тебя сам найдет.

Знакомые имена подстегивают меня.

Вспоминаю про работу, приличный заработок и задумываюсь над возможными санкциями за опоздание. Отбрасываю одеяло, нащупываю под кроватью мягкую одежду.

– Параша там. – Новый кивок на дверь, где скрылись казах и старуха. Папироса пляшет в зубах, покачиваясь вверх-вниз. – Там же раковины и душ. Курить только на улице. Раз в три дня посменно драим пол и протираем пыль. Твоя сме-на будет завтра.

Я запоминаю. Не уверенный, что задержусь до завтра.

Но якорь уже зацепился за подводную корягу. Ветер стих. Пятисотенная купюра в трусах щекочет кожу. Валек продолжает, словно мое пребывание здесь уже решено на многие недели вперед.

Он говорит:

– Завтрак в восемь, готовит у нас Маринка. Потом Эдик определяет объем работ. Обед в час. С двух до четырех – личное время. – Вынимает картонный цилиндр из губ, задумчиво вертит в татуированных пальцах. – Делай, что хочешь, но за ограду не ходи. Если что-то нужно – курево, соки, шоколад или что-то – заказывай через Эдика. С четырех тебя снова нагружают. В восемь ты сам по себе, в десять отбой, во двор спускают собак.

Не часто встречаешь расписание поденных работ сродни армейскому.

Удивлен и впечатлен одновременно. Из разнорабочего перепрыгнуть в постоянную прислугу, конечно, почетно. Но готов ли я?

Вяло благодарю. Встаю и одеваюсь.

Чума смотрит снизу вверх, внимательно читая мое лицо.

Заправляю кровать, пытаюсь вспомнить детали процедуры и сделать все аккуратно. Иду в сантехнический блок. Вспоминаю женщин, бросавших меня на протяжении детской и взрослой жизни. Вспоминаю призрачные семьи, которые мог бы строить. Славных детей, которых мог бы воспитывать. Объятия, которых никогда не испытаю.

Якорь брошен. Сердце болит.

Из душевых загоронок валит пар, и в его жаре самоуничтожительные грезы стремительно тают.

Неоконченное высшее

Я раскрываю розы.

Не отламываю примерзшие лепестки, но осторожно разматываю теплосберегающую пленку, которой укутаны кусты. Сытно, чисто, почти не морозно, я даже начинаю получать от непривычной работы неподдельное удовольствие. Пальцы колются о шипы, но по сравнению со вчерашним гвоздем это сущие мелочи.

Виталина Степановна рядом.

Не отходит, следит за каждым жестом.

Закуталась в серую шерстяную шаль. Нахохлившаяся ворона, немногословная и угрюмая. Дает указания, шикает, когда делаешь что-то не так. Указывает, подсказывает, направляет. Мне действительно начинает нравиться...

Розовых кустов девятнадцать. Шесть ярко-алых, это я узнаю только от старухи, разлапистые кусачие веники не подписаны. Еще шесть белых. Шесть розовых, «нежных, как бархат». И один черный, очень редкий, над которым хозяева трясутся, что собачка в сумке блондинки.

Скоро май, и Ворона решила открыть кусты.

Я не спорю – все одно, ничего не смыслю в садоводстве – и подчиняюсь. Подчиняюсь Пашку и угрюмой бабке, Эдик так и не появился. Как и мои наниматели. Время от времени мне вообще начинает казаться, что мы – наемники – работа-

ем тут сами по себе. А Эдика вообще не существует. Может быть, торчок Паша и компания захватили брошенный особняк и старательно ухаживают за садом в ожидании будущего поощрения?

Собак не видно, как и будок. Если они и лаяли ночью, я все равно не слышал. Подвал гасит звуки, да и спал я, будто убитый.

Чума тоже тут.

Бормочет под нос, но с разговорами не пристает. Курит папиросы, пару раз предлагает, протягивает портсигар. Отказываюсь. Даже рад, что окружение столь немногословно. Отрабатываю, вспоминая недурственный завтрак. И предвкушаю вечерние пять сотен, которые ждет нычка в трусах.

Валентин Дмитриевич счищает последний снег с веток и кустов шиповника.

Обвязки уже убраны, и я доверяю чутью старухи больше, чем прогнозам по телевизору, – скоро будет тепло. Чума откидал тощие оладушки лежалого снега от яблоневых стволов и начинает граблями сгребать павшие листья. Высушенные, промокшие, гниющие и забытые. Как все мы, трудящиеся тут, в хозяйском саду.

Пашка и Санжара не видно, ушли из подвала сразу после завтрака. Молча вычистили тарелки прямо на спальных местах и ушли, не обменявшись ни словом. Я не настаиваю. Вспоминаю про деньги. Вспоминаю про якорь. Он дорог мне отныне.

Чумаков счищает старую кору со штамбов и ветвистых побегов. Складывает аккуратно, будто коллекционирует мусор для авторской инсталляции. Где-то на южном дворе, где вчера трудился я, грохочут доски и трещит стекло. Вероятно, казах завершает мою работу. Размышляю, сколь надолго можно затянуть постройку сарая. День – пятихатка. Неделя – три с половиной косаря. Недурно.

Может быть, уйду в Кемерово.

Может быть, в Томск.

Подальше от *нее*. Подальше от воспоминаний.

Испартаченный Валек бредет в дом. Через небольшую подсобную дверь в восточном блоке, тоже обрамленную плющом. Возвращается с ведерком извести и начинает мараить свежепосаженные кусты. Виталина Степановна ворчит, постоянно поправляет его, шипит. Тот огрызается, беззлобно и находчиво, скалится и уворачивается от тумачков.

Кусты белеют, пахнет известкой.

Тепло. Весна.

Я улыбаюсь, но так, чтобы не видели другие. Оборачиваюсь к особняку, и тут замечаю ее.

Она говорит:

– Здравствуйте. – Опирается на перила балкона, нависая.

Он на третьем этаже, но мне кажется, что в настоящем поднебесье. – Кажется, вас зовут Денис?

Что-то мычу. Вроде бы соглашаясь.

Я потрясен ее очарованием и грацией. Даже с такого рас-

стояния вижу лучики морщинок от глаз, задорные и сексуальные. Вижу стареющую кожу шеи, едва заметные складки на ней, усталость взгляда, тяжесть жестов. Но не могу оторваться. Она совершенство. Старше меня лет на десять минимум. Но я бы продал душу, чтобы стать мужем такой потрясающей женщины.

— Эдуард еще не успел нас представить, — продолжает она, и я с удивлением понимаю, что ни Чума, ни Виталина Вороновна не обращают на разговор никакого внимания, — но я Жанна. Родственница хозяев, если так можно сказать.

Она легко и выученно смеется, и от звенящих звуков тает снег самых темных прогалин.

Точеная талия, высокая небольшая грудь. Темно-русые волосы волнистыми каскадами на плечи. Огромные глаза. Тонкие губы и пальцы. Обручального кольца нет. Одета в штаны мужского покроя и кожаную куртку на молнии, застегнутую до кремового шарфа. Сияет, хоть понимаю я это значительно позже.

— На кого вы учились? — продолжает она, и я с удивлением осознаю, что весь день ждал этой беседы. Может быть, видел ее во сне. Но происходящее не кажется мне неестественным. — У вас ведь высшее образование, да? Я сразу вижу.

Отвечаю, что неоконченное. Педагогическое. Мог бы стать историком. Или географом.

— Это не страшно, что неоконченное. Может быть, Алиса попросит вас порепетиторствовать Колюнечке? — продолжа-

ет она. С удивлением понимаю, что таким мог быть голос сирен, заманивавших моряков на скалы. — К сожалению, мальчик так мало читает...

При воспоминаниях об институте мне становится неловко.

Дурно. Словно получил открытку от человека, которого уже много лет считал умершим.

— Надеюсь, вам у нас понравится, — ослепительно улыбается Жанна, отлипая от кованых перил.

Мое сердце похоже на кусок подгоревшего слоеного теста. Шершавое, осыпающееся черными пластинками тончайшего пергамента. Только встряхни, как старый пустой улей, и рассыплется в прах.

Я смотрю на Жанну. Эффектную, элегантную и легкую.

Заглядываю в себя. Вижу чей-то язык, огромный, острый, нечеловеческий. Он пробует мое сердце на вкус. Скользит по нему, висящему в черном «нигде». Снизу вверх, снизу вверх, отшелушивая слой за слоем и будоража запах гари. Хрустит отмирающей плотью, хочет добраться до начинки. Каким бы пригорелым ни был мой мотор, оно жаждет отведать его без остатка, словно желанный деликатес.

Жанна уходит в дом, еще раз улыбнувшись на прощание.

Замираю зайцем в свете автомобильных фар. Обалделым, чувствующим приближение четырехколесной смерти, но не способным ничего с этим поделать. Встряхиваюсь и продолжаю работать.

Цветовой код

Чтобы земля быстрее прогрелась, я сгребаю снег.

Отбрасываю в сторону, дробя совковой лопатой. Будто сею снежные семена. Грязно-белые драконьи зубы, ломкие и пористые. Работа непыльная, как и до обеда, к тому же совершенно не требует спешки. Я уже давно не чувствовал себя настолько *нужным*. Отдохнувшим и вымотанным одновременно.

Словно попавшим на планету с атмосферой, схожей, но чуть отличающейся от земной.

Дышится легко, но непривычно. Весенний воздух тягостит. Он будто не желает покидать легких, надолго оседая в них облаками неизвестных испарений. Обед покоится во мне увесистым грузом. Скорее всего днем мы доедали остатки хозяйской трапезы, но я не в претензии. Мясо по-французски было изумительным, и мне не ясна причина дискомфорта. Начинаю искать ее вовне...

И тогда меня посещает первая мысль, что якорь стоит втянуть обратно на борт.

За прозрачной шторой на втором этаже силуэт. Судя по всему – мужской. Черт лица не разглядеть, но мне кажется, что это хозяин усадьбы. Стоит неподвижно, уже четверть часа наблюдая, как я разбрасываю снег в северо-восточном углу двора. Пытаюсь найти собачьи следы, чтобы хотя бы при-

мерно определить породу четвероногих сторожей. Не нахожу.

Солнце скрывается за драным навесом облаков асфальтового цвета.

Мужчина отходит от окна.

Санжар снова грохочет досками. Что-то напевает на родном языке, и я решаюсь подойти.

Оставляю лопату, воровато оглянувшись на особняк, неспешно огибаю крыло.

Замираю, не совсем доверяя глазам.

Гора мусора, рассортированного мной вчера, снова срывается в угловатую бесформенную пирамиду. Усилиями Санжара. Крепкого высокого казаха, без суеты сбрасывающего доски и рамы в одну кучу. Солнце, только что висевшее над высоким замковым забором, внезапно проваливается за горизонт. Над домом звенит мелодичная трель, отмечающая конец рабочего дня.

Санжар опускает на землю оконную раму, которую собирался перекладывать. Оборачивается, замечает меня и приветливо машет рукой.

– Привет, – говорит он, будто при случайной встрече двух старых знакомцев. – Я Тюрякулов.

– Зачем? – выдавливаю вопрос, словно остатки зубной пасты из тощего тюбика.

– Проверка, – отвечает казах, недоумевая. – Ты справился. Готовлю для других.

Мне становится не по себе.

Мясо по-французски вдруг превращается в тягучие капли ожившей ртути, делает первый рывок вверх. Подавляю тошноту, непослушными ногами бросаю себя мимо Тюрякулова. Лопата забыта у забора.

Спускаюсь в подвал, едва найдя силы отворить тяжеленную дверь.

Иду коридором, который успел выучить. Сердце щекочет иззубренным острием предчувствия. Улыбка Жанны кажется искусственной, вылепленной из глины, неживой. Перед глазами плывет.

В жилой комнате людно.

На большом столе в дальнем углу, накрытые хромированными колпаками, тарелки с ужином. Пышут жаром водопроводные трубы, протянутые под потолком. Виталина Степановна что-то вяжет, постукивают спицы. Пашок валяется на койке, задрав ноги на высокую спинку. В ушах белеют пуговицы наушников.

На одной из заправленных кроватей сидит Марина. Догадываюсь, что это именно она, весь день проработавшая наверху, в доме. Спокойная, деревенская, с правильным, но некрасивым лицом. Вся *серая*, будто тень. Так людей перекрашивают наркотики. Или горе.

Еще здесь Эдик, и я впервые смотрю в лицо человека, которому доверяют ключи от хозяйских спален. Высокий, статный, с осанкой театрального актера. Седые волосы аккурат-

но острижены и зачесаны.

Ожидая увидеть энергичного менеджера-управленца средних лет, я вдруг понимаю, что тону в темно-пепельных глазах вышколенного семейного лакея. Ему определено за шестьдесят, но выглядит Эдик значительно моложе Чумакова. Одет в отутюженные серые штаны, белую рубашку и пиджак цвета грязного апрельского неба. С необъяснимой уверенностью понимаю, что он педераст.

– Здравствуй, Денис, – говорит Эдик, не спеша протягивать руку.

– Мне нужно идти, – бормочу я, стягивая рабочую куртку. – Только рюкзак заберу, ладно?

Взгляды троих сходятся на мне, словно лазерные прицелы.

– Если за сегодняшний день заплатите, хорошо, – продолжаю лепетать, вынимая рюкзак из-под кровати. – Если считаете, что не отработал...

Пячусь в гробовом молчании.

Потолок становится ниже, температура падает градусов на десять. Эдик молчит, в глазах неодобрение, но он не спешит комментировать. Виталина Вороновна протяжно вздыхает, возвращаясь к вязанию.

Говорит негромко:

– Зайку за лапку да подвесить над лавкой.

Пашок вынимает один наушник, поглядывает лукаво.

Выхожу в коридор. Там Санжар и Чума. Стоят плечом

к плечу, перегораживая проход.

– Не ходи на улицу, – предупреждает Чумаков, пряча в карман рабочие перчатки и вынимая портсигар. – Себастьян уже спустил собак.

Казах кивает. Затем медленно качает головой, будто действительно волнуется за меня.

Он ведь хороший парень, не так ли? Поворачиваюсь и углубляюсь в глухие бетонные коридоры, в которых еще не был. Эдик глядит мне вслед с порога общей комнаты. Санжар и Валентин Дмитриевич не пытаются остановить.

Мне плохо. Меня начинает трясти. Причина остается неясна, отчего делается еще страшнее. Наверное, так начинаются приступы клаустрофобии.

Нахожу лестницу вниз. Нахожу дверь в гараж. Нахожу лестницу вверх. Поднимаюсь, отдавая себе отчет, что вторгаюсь в неприкосновенные хозяйские владения. Плевать. Застегиваю ветровку, запоздало спохватившись, что забыл книгу на тумбе. Вбрасываю руки в обе рюкзачные лямки. Открываю дверь и впервые попадаю в жилое пространство особняка...

Как и предполагалось, тут все стильно и богато.

Мебель старая, подобранная со вкусом и тактом. Обои тяжелые, на тканевой основе, шепчут о будуарах серебряного века. На изящных столиках тяжелые бронзовые подсвечники. Повсюду картины. Люди и боги смотрят на меня с невероятно-качественных репродукций. С интересом, с осужде-

нием. Вижу Дега, Рубенса, Боттичелли. Возможно. От того, что я не разбираюсь в живописи, картины на стенах не становятся хуже или менее почитаемыми.

Шаги по паркету разлетаются по полутемным комнатам. Безлюдным, тихим, брошенным комнатам. Оставляю грязные следы, испытывая совершенно неуместный стыд. Сворачиваю, сворачиваю, открываю створки. Нахожу парадную дверь. Тяну на себя.

За ней стоит мужчина.

Я точно знаю, что Себастиан – именно он. Черные штаны и черная водолазка. Черные ботинки, сверкающие и холёные. На руках черные перчатки с обрезанными пальцами. Он выше меня на голову и шире в полтора раза.

Себастиан похож на Элайджу Вуда, три месяца не покидавшего качалку. На бледном лице ноль процентов эмоций. Смотрит прямо перед собой, руки висят вдоль тела. За его спиной в сгустившейся весенней ночи виднеются силуэты сторожевых псов. Их драконьи глаза сверкают в свете, льющемся из открытого проема.

Я в беде. Еще не знаю, насколько серьезной, но теперь это осознается совершенно отчетливо.

В полнейшей тишине закрываю дверь на крыльцо, отсекая морозный воздух.

Разворачиваюсь и по собственным грязевым следам возвращаюсь к подвальной лестнице.

Я в беде...

Происходящее внезапно отбрасывает меня назад, в прошлое. В детство, прошедшее под дребезжание трамвая. Неожиданно вспоминаю, как с друзьями, тайком от родителей, катался на нем через весь город. Не помню номер, но это и не важно. Сейчас вообще никто не поверит, что трамвай ходил через Старый мост. А он ходил... И многим дальше – на Левый берег, в самую его глубину. И через добрую половину Правого. А мы – мальчишки с одного двора, сбегавшие в поисках приключений – все ехали, ехали и ехали, прилипнув к окнам, и это путешествие казалось упоительно-бесконечным.

Происходящее отбрасывает меня в прошлое. Туда, где родилась игра в «Цветовой код». Не «Семицветик» или «Угадай-цвет», а именно «Код». Мы все пытались подтянуть под космическую фантастику и ее чарующие термины. Вспоминаю простейшую суть забавы, и сердце отчего-то щемит...

Штурман экипажа задает цвет. Остальные, пляясь в окна, лихорадочно ищут нечто указанное. Вариантов может быть много. Командир – он же начальник экспедиции – определяет, какой из вариантов интереснее. Я почти всегда проигрываю, потому что «белая волга» куда скучнее «дохлого белого голубя»...

Сейчас, встретившись с черным Себастианом, обреченно понимаю, что снова в игре.

Я черный плащ опереточного злодея, бесстыдно манящий подкладом, словно приоткрытое женское естество. Я смерть,

каковой ее воспринимает большинство людей.

Спускаюсь в подвал.

Санжар, Эдик, Чума, Пашок, Марина и старуха сидят на своих койках, глядя на меня с молчаливым укором. Затем старший слуга говорит:

– Больше так не делай. – Встает, покидает закуток и подходит к столу с едой. – Давайте ужинать.

Предназначение

Удивляюсь сам себе, но сплю крепко, без сновидений.

В голове и душе пусто, будто прошел ураган. На тумбочке – аккуратно сложенная стопка одежды из секонд-хенда. Футболки, домашние штаны, шарф, кепка и вязаная шапка, носки. В запечатанной упаковке новые трусы, пар десять. Рядом полотенце, зубная щетка и паста, бритвенный станок, мыло и упаковка туалетной бумаги.

Сигнал будудки еще звучит. Но Санжар уже сидит на соседней – пустой – кровати, наблюдая за моим пробуждением.

Словно ничего не произошло.

А что, собственно, произошло?

– Сегодня работаем по дому, – говорит он, поверх моего плеча посматривая на занавеску Эдика. – Чистим паркет и сжигаем мусор.

Я не отвечаю. Отправляюсь умываться.

Долго, с чуждым медлительным упоением скребу лицо бритвой. Размышляю.

Мне никто не угрожал. Никто не приковывал цепью к батарее центрального отопления. Не вырывал ногти и не отбирал паспорт. Меня готовы кормить, поить и обеспечивать работой. Почему же тогда звук захлопнувшейся ловушки до сих пор стоит у меня в ушах?

Чищу зубы, умываюсь. Рядом шумит водой Пашок. Да-

же не пытается начать разговор, что совершенно устраивает обоих. Из кабинки унитаза слышно смешливое бормотание Чумы – он читает анекдоты на последней странице газеты. Когда возвращаюсь в жилой блок, казах все еще на прежнем месте.

– Кто такой Себастиан? – спрашиваю я, словно возобновляю прерванный разговор.

– Гитлер-то? Друг семьи, – отвечает тот. С места не сдвигается, смотрит снизу вверх. – Немец вроде. По-нашему почти не понимает, даже не пытайся. Он тут вроде как за телохранителя.

– И сторожа, – добавляет Чумаков из-за моей спины. На нем спортивные штаны и знакомая майка, под мышкой зажата газета, зачесанные волосы растрепались. – Лучше не зли...

Мы с Чумой начинаем одеваться. Санжар все еще неподвижен.

– Знаешь, – вдруг выдает он, будто только этого и ждал, – у меня в Алматы друг жил, Казтуган. Химик от рождения. Варил все подряд, хорошие деньги заколачивал. Работал на фабрике «Джапан Табако Инкорпорейтед». Хорошо там платили, да. Хрен устроишься. А еще ему хорошо платили уважаемые люди из одной медицинской корпорации. И по их заказам Казтуган украдкой, так и не попавшись, подсыпал в одну из сотен тысяч сигарет на конвейере очень сильный, но медленно действующий яд.

– Чтобы сигареты убивали. – Не спрашиваю, а уточняю.

История кажется нереальной, но отчего-то очень жуткой. Стану ли я теперь обнюхивать все сигареты, вынимаемые из пачки?

Санжар кивает.

– Рожденный судьей – вот как его имя переводится. – Он встает и наконец-то идет одеваться. Пашок и Чума слушают с интересом, но заметно, что не в первый раз. Виталины Степановны и Марины в комнате уже нет. – И в какой-то момент он взаправду уверовал, что может судить людей. Избирательно, непредсказуемо, как в рулетке. Тогда он сошел с ума.

Я не успеваю переварить рассказ, из-за занавески появляется Эдик. Одет как вчерашним вечером, с точностью до складки на рукаве пиджака. Сосредоточен, спокоен и не улыбочив. Раздает задания.

Вычистить ванную на третьем этаже западного крыла. Вычистить камин в главной гостиной. Натереть паркет в столовой. Натереть подсвечники в коридоре второго этажа. Сжечь мусор. Помыть машину жены хозяина. Закончить восстановление мусорной горы. Принять продукты, заказанные по Интернету. Починить водосток, поврежденный сходом снега. Починить перегоревшую розетку в игровой комнате. Заменить лампы в люстре центральной прихожей.

Я думаю про человека, подмешивающего яд в сигареты. Про его *предназначение*. Про свое тоже думаю. Может быть

так, чтобы высшие силы оставили меня в живых только для того, чтобы насладиться моим медленным угасанием в стенах этого странного особняка?

Да, мне уже приходилось бывать в переплетах.

Серьезных, с риском для здоровья и жизни. Доводилось лежать в овраге под трупами поделщиков, не успевших первыми выхватить стволы. До сих пор не знаю, какой от меня был толк в той дикой разборке. Наверное, прихватили для массовки, в толпе единомышленников кореша готовы на многое. Массовка. Как на съемках фильма. Да вот только с той съемочной площадки сумел вернуться лишь я...

Надраиваю паркет, ползая на четвереньках, разряженный в специальный комбинезон, сродни медицинскому. Эдик не хочет, чтобы на пол сыпались волосы, поэтому заставил даже натянуть капюшон. Вокруг такая тишина, что кажется, будто во всем огромном доме никого нет. Я блестящая гладь нежно-коричневого паркета, по которому в танце скользят изящные легкие люди.

Вспоминаю овраг. Сырость и страх.

Пистолетная пуля задевает легкое, выкрасив меня малиновым. Вероятно, это и обманывает уркаганов из вражеской группировки. Лихие девяностые называются так не по прихоти журналистов. Еще почти полгода после той бойни я лежу в больнице и отвечаю на вопросы следователей. То еще времяпровождение. Остальным повезло меньше...

Пол блестит. В нем, будто под водой, шевелится размытое

отражение. Словно тень смерти, которую уже на протяжении тридцати лет я вижу поодаль, неспешно бредущую в размышлении – забрать или оставить?

Вероятно, таких называют фаталистами. Идиотами, не видящими дальше своего носа. Однодневками, не способными к взрослым отношениям и созданию семьи. Вечными детьми, боящимися задуматься о завтрашнем дне.

Моей вины тут нет. Аргументов поведению – хоть отбавляй.

С какого-то момента я вообще перестаю планировать. Потому что в моей жизни *все* идет наперекосяк. Говорят: хочешь рассмешить Господа, расскажи ему о своих планах. Предпочитаю смотреть на проблему с иной точки зрения. Хочешь накормить Дьявола – начинай планировать жизнь на ближайшие месяцы или годы.

Переползаю, давлю мастику на тряпицу, натираю доску за доской.

Какой смысл городить прожекты, если утром она собирается покупать билет к тебе в Барнаул, а уже вечером сообщает, что возвращается к мужу, и это ваш последний разговор? Какой смысл выстраивать график накоплений на отпуск, если уже завтра отложенные деньги требуются, чтобы оплатить операцию отца? Какой смысл мысленно настраивать себя, привыкая к новому человеку и вписывая, вколачивая, вталкивая его в картину твоего мира, если ближайшей ночью Алена не вернется в квартиру, исчезнув навсегда? Ка-

кой смысл подсчитывать предположительный недельный заработок, если уже на следующий день ты заперт за четырехметровым забором и не можешь потратить ни рубля?

Моя жизнь – сплошной форс-мажор. Полное отсутствие уверенности в чем бы то ни было.

Коричневый: легкие умирающего, изгрызенные раком в последней стадии.

Так было, и так будет.

Замечаю, что не один.

– Не отвлекайтесь, – говорит она. – У вас хорошо получается, – добавляет она. – Жанна сказала, вы историк.

Я распрямляюсь.

Стою на коленях, разряженный в белый полупрозрачный комбинезон, будто астронавт, оплакивающий гибель остального экипажа.

Женщина в дверном проеме отчасти похожа на Жанну. Но ярче. Плотояднее. Юбка от Mexx. Пиджачок от Vazhaar. Похожа на деловую леди. Похожа на хищницу из небоскребов, безжалостно обваливающую котировки вражеских компаний. Похожа на заточенный напильник, способный проткнуть насквозь сантиметровую доску. Похожа на ядовитый цветок в прекрасном букете.

Моя ровесница. Может быть, чуть старше. Элегантна и стройна. Косметика нанесена столь безупречно, что заставляет задуматься о профессиональном перманентном татуаже.

Чувствую себя ребенком, застуканным за рукоблудием.

Считается, что, по данным ООН, в мире на положении невольников трудятся почти 12 миллионов человек. По отчетам отечественных спецов, в России эта цифра достигает 600 тысяч человек. МВД срезает эту цифру на две трети.

Затем:

– Можете называть меня Алиса. Надеюсь, вам у нас понравится.

Пощелкивает пальцами, будто подбирая нужное слово.

Блестит шикарное золотое кольцо. Bulgari. Или Chopard. Обручальное кольцо. Эксклюзивное персонифицированное клеймо. Проклятье для мужчины, к трем десяткам лет не создавшего семью. Знак чужой собственности, колкое напоминание собственной никчемности. Краткая история чужой жизни, прожитой в любви и кухонных ссорах, пока ты упиваешься свободой беспорядочного одиночества. Символ и напоминание о том, что ты безнадежно опоздал и весь качественный товар твоего года выпуска уже разобран покупателями магазина. Не создавая паники, направляйтесь к запасным выходам, персонал вас проводит...

Я бродяга, затем наемный рабочий, в будущем – репетитор. Хочешь узнать, как сделать карьеру за 36 часов? Спроси меня. С полнейшей апатией смотрю Алисе в лицо, размышляя, что за успокоительное нам подсыпают в еду.

– Ты симпатичный. – Палец с идеальным маникюром тычет в меня, будто ружейный ствол.

– Когда я смогу уйти? – спрашиваю без надежды, чтобы поддержать разговор.

Смеется.

Она смеется. Затем делает несколько звонких шагов, вышибая из паркета деревянную дробь, и исчезает за краем дверной арки. Растворяется в недрах дома, и дальше я не слышу даже эха. Тюбик мастики с фырканьем кончает на тряпку в моей руке; продолжаю натирать полы.

Неужели судьба оставила меня в живых в тех далеких 90-х только для того, чтобы я драил паркет и учил географии отпрыска богатых безумцев? Заслуживаю ли этого я, за два дня до перестрелки бейсбольной битой избивавший парнишку, имени которого даже не узнал? Поджигавший ларьки? Прокалывавший шины и подсыпавший сахар в бензобаки? Преисполненный собственной важности от сопричастности к настоящей братве?

Спросите у грозовой тучи, нависшей над домом.

Если сможете расшифровать ответ грома, ударившего в ответ, обязательно сообщите.

Безликий

Хозяина я встречаю через два дня.

Два дня, проведенных в работе, чередуемой сном, душем и жратвой. Никакой дедовщины или влияния зоны, которого я опасался от Чумакова. Никакого давления и унижений, все равноправны и ответственны, как жители кампуса.

Кормят, нужно заметить, добротно. Продукты только самые лучшие и дорогие. Кухней заведует Марина. Почти не узнаю ее за это время. В часы отдыха молча гладит белье, дремлет или читает «Унесенных ветром», потертую до дыр и рассыпающуюся на страницы.

Мужчины подвала говорят, что она окончила кулинарный техникум. До того, как потеряла детей в аварии, а после этого убила соседей. Как бы то ни было, кашеварит она хорошо.

Почти всегда ей помогает Эдик.

Для особенно важных пиршеств к производству допускают кого-то из нас. Чаще всего – Пашка. Остатки завтраков, ленчей, обедов и ужинов на небольшом встроенном в стену лифте спускают в казарму. Вкусно.

Мы едим, спим, читаем и снова возвращаемся к работе. Телевизор нам положен в крайне ограниченных дозах, а раз в неделю можно коллегиально выбрать для просмотра фильм. Их, кстати, тут предпочитают не качать с Интернета, а покупать лицензионные версии. Упиваюсь сарказмом, по-

глощая очередную порцию ленивых голубцов. Мне будет их не хватать.

О побеге стараюсь не думать.

Мысли – такая подлая субстанция, что иногда ей хватает наглости материализоваться на лице. А взгляд Эдика похож на луч сканера. Да и Чума набивается в дружки, не отлипая ни на минуту свободного времени.

– Рубанем в нарды, Диська? – спрашивает он.

– Сигаретку? – спрашивает он.

– Дети есть? – спрашивает он. – У меня вот наверняка.

Баракхтаясь в ржавых оковах повседневных забот, откладываю деньги. Незаметно. Их выдавали еще один раз, почти перед отбоем. Хорошие деньги, на них можно заказать книги или шоколада. Фруктов. Порнографический журнал. Банку энергетического напитка. Гель для волос. Тапочки или халат.

Демонстративно убираю большую часть заработка в тумбу, остальное украдкой проталкивая в подорванный подклад куртки. О том, что побег может состояться, когда на улице уже будет ликовать лето, я не думаю.

– Давай купим Санжару таблетки от храпа? – спрашивает Чумаков.

– У тебя родители живы? – спрашивает Чумаков.

– Ты когда-нибудь убивал человека? – спрашивает Чумаков. – Мне вот довелось.

Татуировки на его плечах бледные, словно выцветшие под

южным солнцем. В одной из надписей на левом плече орфографическая ошибка. Стараюсь не смеяться. Стараюсь забиться под одеяло. Коплю злость и силы, которые исчезают, стоит коснуться подушки щекой.

Особняк необычайно молчалив.

Тихий, будто мавзолей. И это при том, что я уже видел троих его обитателей и наслышан о четвертом. Санжар вслух читает дурацкие анекдоты из журнала, который выписывает. Виталина Степановна стучит спицами. Пашок говорит, она вяжет детские свитера. Которые потом украдкой бросает в мусоросжигатель. Раз за разом покупает пряжу и снова стучит.

Погружаюсь в молчание, в котором меня топит этот странный дом. Полирую, подстригаю, проверяю резервный генератор, чиню дугообразные настенные подъемники для инвалидной коляски, подметаю и отвечаю на вопросы сокамерников с простотой и оцепенением банковского терминала.

Хозяина я встречаю через два дня.

– Константин, – говорит он.

Или не говорит, я тут же забываю. Но точно знаю, что обращаться к нему нужно именно так.

– Еще можешь называть меня «хозяин», – говорит или не говорит он.

Пожалуй, Константин лет на десять старше меня. Обычный мужик, каких сотнями встречаешь в метро или на остановках среди тех, кто из кожи вон вылезет, но выделится из

серой массы. Кажется, он блондин. Или шатен. Некрасивым назвать нельзя, но и привлекательным – тоже. В его глаза я загляну позже, а пока понимаю одно: отведя взгляд, уже через две секунды забываю, как выглядит мой хозяин...

Где-то за высокой оградой Особняка снова грохочет апрельская гроза.

Древние Боги небес сражаются с чудовищами, лязгая волшебным оружием и на время забыв о ничтожестве людишек. Защищают Землю от Зла. Мне кажется, это похоже на установку противомоскитной сетки, когда дом уже забит колониями кровососущих.

Константин неподвижен. Одет в добротную неброскую одежду, и отчего-то мне кажется, что на ней спороты ярлыки производителей. Метр восемьдесят ростом. А может – метр и семьдесят сотых. Мне кажется, он тяжелее меня на пару десятков килограммов. В следующий момент я понимаю, что он худ, будто недоедает. Стоит на балконе – там же, где я видел Жанну.

За его спиной, будто тень, еще один мужчина.

Гитлер. С лицом романтического убийцы. В неизменно отглаженных полуспортивных брюках и перчатках без пальцев.

Хозяин рассматривает меня без интереса.

Идеальный преступник. Таких никогда не запомнишь в толпе. На фотороботе, срисованном с Константина, будет красоваться смайлик. На всех семейных фото его лицо отчего-то не в фокусе. Через минуту ты вообще забываешь, что

с кем-то разговаривал. Хозяин не хочет, чтобы этот мир его запомнил.

– Надеюсь, тебе у нас понравится, – говорит он.

Он искренен, это слышно. Неприметное, совершенно *обыкновенное* лицо не выражает ничего. Когда Константин говорит, то делает это вальяжно и неспешно, будто ленится. Он говорит скулами, а не губами. Едва ворочая ими, проталкивает скомканные в пучки слова, заставляя напрягать слух. Перед белоснежными зубами, на едва разлепленных губах образуются тонкие ниточки белой слюны. Именно они, а не его глаза или выбритый подбородок, притягивают взгляд.

Мерзкие белые ниточки.

– Я могу позвонить родным? – спрашиваю без надежды на ответ.

– У тебя нет родных, – отвечает Константин и уходит с балкона.

Возвращаюсь к работе.

Если мое пребывание здесь затянется, будет иметь смысл купить плеер. Музыка иногда помогает справляться с жизненными неурядицами. Доказано всеми неудачниками, брошенными возлюбленными, банкротами и алкоголиками мира.

Мне нужно нечто из моей прошлой жизни. Мелодия, под которую я лишился девственности. Выкурил первую сигарету. Украл коробку вина из ларька на остановке. Поругался с отцом и со всей подростковой дури зарядил ему в глаз.

Уже много лет, как музыка получила собственный, дополнительный слой реальности. Обросла артефактами памяти, от которых не убежать. Она, льющаяся из компьютеров, телевизоров, радиоприемников и телефонов, слишком тесно связана с образами и событиями человеческой жизни. Больше не существует «просто музыки», произведений в себе. Есть минуты, часы, дни, недели и годы, прожитые под аккомпанемент той или иной композиции.

Музыка стала пластом коллективного сознания. Единым банком памяти, из которого время от времени всплывают воспоминания: поцелуй под дождем, ссора, автомобильная авария, прощальная СМС, судьбоносная поездка в метро...

Мне нужно нечто мелодичное из моей прошлой жизни. Пока у меня нет плеера, я предаюсь медитации. Стараюсь не отхватить палец секатором, погружая разум в трансовое состояние безразличия и нейтрального настроения. Представляю себя тяжелым бомбардировщиком времен Второй мировой, вышедшим на боевой курс.

Аутотренинг примитивен, но неоднократно помогал.

Под днищем машины лежат объекты моего «не повезло».

Город «Нищета», мост «Нервный тик и психосоматическая чесотка», железная дорога «Лишение свободы». Поселок «Голод» и перевалочная база «Несчастливая любовь». Целый мир негатива, который я сжигаю дотла бомбами своего внутреннего я.

Самовнушение – великая сила.

Именно она удерживает нас в лодке, не позволяя броситься за борт и отдать свою душу на растерзание акулам неурядиц.

Лошадка в подарок

С маленьким говнюком я знакомлюсь еще через три дня, когда апрель угасает, становясь прошлым. Знакомлюсь с прыщавым пухлощеким вырожденком и его дядей, замкнувшими кольцо безумия, висящее над хозяевами Особняка. С этой капризной и вечно перемазанной шоколадом пародией на человека.

Семейство устраивает праздник.

Или что-то вроде праздника, но всем холопам дают выходной. Нам не позволено выходить на центральную подъездную аллею. Там ставят столы и натягивают тент, там будут жарить мясо. Чужое счастье похоже на музейный экспонат – смотреть можно, дотрагиваться нельзя.

– Не нервнируйте Себастиана, – говорит Эдик, осматривая одного обитателя подвала за другим.

– Если хозяева заметят кого-то из вас, – предупреждает он и в первую очередь меня, – вам не поздоровится.

Пашок подмигивает мне из своего угла, восседая на скрипучей койке. Он в шортах, отчего заметно гадкое родимое пятно на левом колене. Торчок щурится, лижет зубы, кривит лицо в гримасе до тех пор, пока я не понимаю, что именно он хочет донести:

– Мы все равно пойдем и посмотрим, – намекает его дергающийся глаз.

Так я и знакомлюсь с мелким ублюдком, вокруг которого пляшет вся семейка.

Впрочем, знакомство – громкое слово. Просто вижу его издали и обретаю понимание. Я далай-лама новосибирского разлива. Я постигающий жизнь в самой неприглядной ее форме и ничего не могу с этим поделать. Б-52 моего воображения пытается утюжить мост «Отвратительная человеческая натура», но для уничтожения объекта не хватает даже тройного запаса бомб...

Весь день мы перекладываем с места на место пенопластовые булыжники мелких повседневных хлопот. Делаем вид, что живем нормальной жизнью, даже несмотря на тяжелые бетонные своды над головой. Вяжем детские свитера, дремлем, читаем журналы и бреемся. Зашиваем прорехи в одежде, перестилаем кровати, подстригаем ногти.

Чума и Санжар садятся смотреть фильм. Со всем космическим сарказмом понимаю, что это «Отверженные». Новинка, только-только вышедшая на DVD.

Время капает с потолка, покрывая меня липкой пленкой безделья.

Едва ли не впервые обращаю внимание, что в подвале ничем не пахнет. Во всем доме ничем не пахнет. Стерильно, будто в больнице. Мертво. Даже когда снимаешь крышку с подноса, на котором стоят тарелки с ужином. Сначалаловишь запах куриных отбивных, а потом – ничего.

Смотрю в бетонный потолок.

Крашенные бледно-зеленым трубы под ним похожи на притаившихся змей. Зеленый... Я школьная доска, на которой пишет имя-отчество первая классная преподавательница. Я ядовитый газ, украдкой вползающий в окопы и щипцами вырывающий внутренности еще живых солдатиков.

Пашок зовет меня за собой.

Валек и казах, поглощенные мюзиклом, делают вид, что не замечают. Марина спит, Виталина Степановна читает. Эдик, хозяйский пес-содомит, где-то наверху. Он действительно считает, что мы не пойдем смотреть...

Мышами выскальзываем из подвала. Мы лишь тени в сгущающихся сумерках. Вокруг тента натянуты нитки гирлянд, контраст светового круга с обступающей мглой так резок, что нас не заметил бы и ночной зверь. Выглядываем из-за невысокой кирпичной ограды, скрывающей спуск в подземные этажи.

– Братюня, – спрашивает торчок шепотом, прижимается ко мне и благоухает отвратительным одеколоном, – хотел бы жить, как они?

С этих пор вид крови будет ассоциироваться у меня именно с запахом его парфюма. Тяжелым, маслянистым, дешевым. Стараюсь не отодвигаться. Под бедром хрустит отмерший побег плюща.

Хотел бы я? Конечно, да. А кто бы не хотел стать хозяином своей жизни? Иметь кучу бабла, шикарный дом, шмотки и машины? Отвечаю, что «пожалуй». Пашок скалится, ки-

вая.

– Ух, нах, я бы тогда развернулся. – Его многозначительность говорит: наркотики, телки, трэш нон-стоп, вечеринки до утра, передоз, ранняя смерть. – Как же я завидую богатым. – Его сожаление говорит: я бы тоже набрал себе рабов. Может быть, даже порол бы, нах, провинившихся.

Спрашиваю:

– Почему ты заманил меня в этот дом?

Пашок каменеет.

Его плечо, прижимающееся к моему, становится непробиваемым. Скулы твердеют, неподвижный взгляд бьет сквозь ночь – в кольцо желтого света, внутри которого разместились тент, столы, здоровенный гриль и автомобильный прицеп.

– Это поощряется, братюня, – говорит он негромко. – Поймешь.

Я очень хочу ударить его в ухо. Хочу зубами впиться в шею, вырвав добротный кусок. Хочу воткнуть в глаз шариковую ручку. Но даже не шевелюсь, вдыхая миазмы копеечной туалетной воды.

Вижу Алису, Жанну и Константина. Даже странно, что для подготовки они не призвали слуг. Сами разжигают угли, сами расставляют посуду, наливают напитки. До нас доносятся их негромкие голоса и смешки. Время от времени кто-то поглядывает на небо, будто проверяя погоду.

Себастиан тоже неподалеку. Нет-нет да и мелькнет на границе светового круга.

Так я впервые встречаю еще двоих участников представления. Один из них – неохватный толстяк с пышной светловолосой шевелюрой, восседающий в просторном инвалидном кресле. Агрегат современный, на четырех равноразмерных колесах, больше похожий на люксовый квадроцикл для неспешных прогулок. С удобной высокой спинкой и пультами управления, встроенными в подлокотники. Именно его настенные рельсы я чинил намедни. Несмотря на недуг, жирдяй катается тут и там, рифлеными покрывками перемалывая мелкий щебень аллеи и жухлую траву газонов. Разговаривает с Алисой – жена хозяина лениво прислонилась к столбу тента, острыми коготками обрывая этикетку с пивной бутылки. Болтают, иногда смеются.

– Это Петя, – шепотом сообщает торчок, заманивший меня в западню. – Брат Константина.

– Шикарная вечеринка, – сообщает он, трясаясь от зависти. – Может, сегодня и нам пивка перепадет...

Петя спокоен, улыбчив и неспешен в действиях.

Он с удовольствием поглощает сочный салат из великанской миски, время от времени прикладывается к бокалу с коньяком. В каждом жесте старательно отмеренные расчетливость и скупость. Реплики его, чего бы они там ни касались, веселят и злят Алису в равной степени.

Перевожу взгляд и наконец-то замечаю малолетнего выродка.

Колюнечка одет, как маленький моряк. Шортики не по по-

годе, сине-белая блузка с отложным воротничком. На голове – беретка с помпоном. Издали ребенок похож на миниатюрную куклу компании «Мишлен», собранную из автомобильных покрышек. Аккуратненький и пухленький. Пережравшийся кусок избалованности и родительского внимания. Я скорее назову его отцом Петю, чем неприметного худого Константина.

Алиса продолжает обдирать этикетки с пивных бутылок, то и дело покрикивает на отпрыска. В голосе ни грамма материнской заботы – скорее усталость и безразличие.

Затем Себастиан выкатывает на освещенное пространство прицеп, до этого стоявший в тени. Легко, будто в ходовую встроены вспомогательные моторчики. Одной рукой тягивает конструкцию в круг ослепительного света, и я вдруг понимаю, что это коневозка.

– Ого, братюня, – шепчет Пашок. – Нам теперь еще и за лошадью говно выносить?

Собравшиеся на центральной лужайке перед Особняком оживляются.

Константин смотрит на наручные часы, легко стучит вилкой по бокалу с шампанским. Говорит тост, улыбаясь домочадцам. Все, кроме неподвижного Гитлера, салютуют в ответ. Колюнечка, припрыгивая от нетерпения, носится вокруг коневозки. Я слышу шумное дыхание животного, запертого в прицепе.

Себастиан открывает аппарат. Ныряет внутрь, бренчит

упряжью, выводит под уздцы упитанного серого пони. Пашок над моим ухом захлебывается слюной. Колюнечка верещит, подскакивая на месте и хлопая. Взрослые смеются и пьют алкоголь.

Смотрю на серую шкуру лошадки. Машинально выдаю информацию капитану корабля, сообщая: я – армейская шинель, которой солдат укрывает заблудившегося в лесу школьника. Я старая паутина в углу заброшенного дома.

В свете ламповых гирлянд пони кажется слепленным из гипса.

Мудак Пашок вцепляется в мое предплечье с такой силой, будто реально переживает за мальчика. Осторожно расцепляю его пальцы, отодвигаюсь. Хочу вернуться в подвал, где ничто не напоминает мне о чужом счастье. О том, что в этом мире вообще возможно быть счастливым и получать подарки, от которых удавятся даже самые богатенькие детишки.

Но я остаюсь.

Потому что в следующее мгновение Коленька нежно целует пони в лохматую морду, а Себастиан увлекает животное прочь от коневозки. О чем-то спрашивает ребенка, на лице ни одной эмоции. Дитя радостно кивает, звонко бьет в ладоши, оборачивается к маме. Алиса тоже кивает, с упоительным хрустом отрывая от этикетки тонкую полоску бумаги.

В руке Себастиана сверкает сталь.

Он делает легкое и плавное движение, на миг прикасаясь к лошадиной шее. Зверюга даже не успевает отшатнуться.

Фыркает, пытается заржать, но срывается на хрип и бульканье.

Из раны лупит тугая струя крови. В ярком освещении пикника она кажется черной.

Поток заливает Колюнечку, пачкая безупречную одежку. Попадает на лицо, шею, пальцы, голые коленки. Мальчик оборачивается, и я вижу его счастливую улыбку. С уголков рта стекают кровавые ручейки.

Пони валится на колени.

Хрипит, яростно вращает глазами, смотрит на обступивших его людей с надеждой на сострадание. Сострадание, которого не получит. Под его шеей образуется угольная лужа, от которой в холодный апрельский воздух валит пар. Колюнечка падает на колени, начиная зачерпывать кровь обеими руками. Плещется в ней, будто на мелководье городского пляжа. Полощет рот. Блузка и шортики меняют цвет.

Я красный – бархатная коробочка, хранящая заветное кольцо для той единственной во всей Вселенной. Я искореженный корпус скоростной «Ламборджини», ранним утром влетевшей в полную народа остановку...

Вцепляюсь в кирпичную ограду, отгораживающую лестницу в подвал.

Пашок наконец умолкает, тяжело вздыхает. Кажется, он не удивлен, что поражает меня еще сильнее. Ментальный бомбардировщик получает цель, отправляясь на боевой вылет. Его метко сбивают при наборе высоты...

Все улыбаются.

Петр подкатывает чуть ближе, Себастиан отходит в тень, пряча складной нож в карман штанов. Константин берет со стола огромный мясницкий тесак. Алиса, пачкая дорогой элегантный костюм от Salvatore Ferragamo, ласково, но решительно оттаскивает мальчишку от трупа. Облизывает пальцы, ненароком перемазанные в лошадиной крови.

Я делаю шаг по ступеням.

Мир за стенами Особняка молчит. Или не замечает происходящего, или умело делает вид.

Константин склоняется над убитым пони, начинает сноровисто свежевать. Петя подхватывает пустую тарелку, в нетерпении направляет свою механизированную коляску к месту жарки.

Жанна звонко смеется, запрокидывая голову. Проверяет, готовы ли угли гриля, открывает крышку. Поворачивается ко мне вполоборота, улыбаясь и щурясь в темноту. По моей спине бегут мурашки, одежда взмокла от пота, и я внезапно ощущаю лютый и непрошенный, едва ли не чугунный стояк.

Спускаюсь в подвал, забыв про Пашка. Настает май.

Репетитор

Колюнечка относится к числу людей такого рода, что умеют одновременно вызвать и презрение, и искреннюю жалость. Усидчивости – ноль. Восприятия информации – ноль. Капризов – полный вагон. Ерзает за удобной, по заказу изготовленной партой, собранной то ли из бука, то ли из ясеня. Что-то бубнит. Один за другим, словно фокусник, вынимает из выдвижного ящика шоколадные батончики.

Я отнимаю один за другим, стараясь делать это мягко и беззлобно.

Складываю на «учительский» стол, благодаря чему под глобусом через какое-то время образуется внушительная пирамида. Будто кто-то всесильный вытряс все дерьмо из всех людей на планете, отправив храниться в Антарктиду.

Колюнечка елозит и капризничает.

– Ты дурной, – говорит он, обиженно кривя губы. – Отдай шоколадку.

– Я пожалуюсь маме, – угрожает он. – Тебя поколотят.

– Ненавижу уроки, – злится он, чуть раньше с той же экспрессией сообщивший о своей ненависти к единорогам, желтым цветам, ранней укладке спать, молоку и зубным врачам. – Ненавижу учиться.

Аккуратно заворачиваю батончик в надорванный фантик и укладываю в общую кучу.

Он безобразно мил, этот маленький засранец с синдромом дефицита внимания. Он отвратителен. Но я отбираю его сладости нежно и услужливо. Где-то неподалеку, слушая нас и бесшумно передвигаясь по коридорам, бродит Себастиан.

Кабинета мне не выделяют.

Ставят посреди огромной гостиной шкаф с учебниками, стол с компьютером, принтер и две парты – ученику и учителю. Вокруг нас акры темно-коричневого паркета, надраенного Санжаром. Картины на стенах. Подсвечники и хрустальные люстры. По плинтусам рассыпалась позолота.

Запах полироли почти выветрился. Теперь я слышу только глюкозный сироп, пальмовое масло, соевый лецитин, ячменный экстракт и сухой яичный белок. Так пахнут экскременты, вытрясенные всемогущим существом со всех уродов пластмассового мира и складированные на Южном полюсе.

За окном бушует май. Через две недели дети средних новосибирских школ сломя голову бросятся на каникулы. Колюнечку это не касается.

– Он уникальный и не может учиться в общей школе, – сообщает Алиса, рассматривая мой список запрошенных учебников.

– Он непросто сходится с людьми, – говорит Жанна, раздевая меня взглядом и постукивая ногтями по картонной упаковке, в которой были доставлены разобранные парты. – К такому мальчику нужен индивидуальный подход.

– В обычной школе ему и дня не протянуть, – многозна-

чительно резюмирует Санжар, помогая мне перетаскивать шкаф из музыкального салона. – Членососа сразу загасят...

История, география, немного литературы. Семейство растроено отсутствием у меня каких-либо склонностей к точным наукам. Биология на уровне начальной школы. Химия на уровне дворовых познаний. Правописание.

Спрашиваю:

– Сколько ему лет? На какой класс уже имеет подготовку?

– Просто расскажи ему все, что знаешь сам, – говорит Алиса, изгибая красивую бровь. – Систематизируй и расскажи.

Пытаюсь.

Выхода в Сеть, конечно же, нет. Впрочем, этому я даже рад – позвать на помощь мне бы все равно не позволили. Сам же по себе Интернет затягивает. Заражает, как болезнь. Уютненько устраивается в твоей нервной системе и через несколько лет, не успеешь оглянуться – уже не мыслишь своего существования без этого невидимого паразита.

Всемирная Сеть вызывает у меня чувство гадливости. Тошноты. Как банка с куском свинины, три дня простоявшая на палящем солнце.

Так вышло, что отныне Интернет состоит из психов... Из людей, принимающих на веру все, что угодно. Из анонимусов, с болезненно-недооцененной важностью защищающих свои, единственно верные точки зрения. Из умников, раздувающих дискуссии такого рода, что если бы посты из соцсе-

тей были пламенем, оно бы давно достигло врат Рая...

Из торговцев крадеными шмотками и наркотиками. Из безумцев, торгующих детьми-проститутками под видом продажи детской одежды. Он наполнен распространителями разнокалиберного порно и спама. Создателями вирусов, как зарабатывающими на этом, так и просто маньяков-мизантропов, «бунтарей» против системы. Дрочилами, игроманами, бесталанными журналистами, горе-фотографами, оппозиционерами и извращенцами.

Все они досыта упиваются виртуальными заботами. Продолжают обогащать штамм безумия, мутировавшего на почве компьютеризации. Закрывая глаза на то, что настоящая гниль живет в мире реальном. С его раздолбанными дорогами, растущими тарифами, расцветом неонацизма, поднебесными ценами на жилье и высоким уровнем криминала. И поселилась эта дрянь тут далеко не в конце XX века, а задолго, задолго до первого модемного соединения...

Смотрю на Колюнечку, вертящего в руках пульт от электронной игрушки. Вспоминаю пони, подаренного ему в последний апрельский вечер. И понимаю, что с безумствами реального мира не сравнится ни один идиотизм и ненормальность анонимной Сети, где желаемое повседневно выдается за действительное.

Я спокоен. Сказал бы – умиротворен. Но в мои обязанности входит и обучение русскому языку, а это не совсем верный термин. Чувствую Себастиана, пребывающего где-то

близко-близко.

Рассказываю про Гибралтар.

Рассказываю про пустыню Гоби.

Рассказываю про тропические леса и великую Амазонку.

Рассказываю про вымирающие виды животных.

Глобус, водруженный на горку надкушенных говешек в разноцветных обертках, сияет синевой океанов. Земля – красивая планета, если не учитывать тех, кем она населена. Командир, слева по курсу – синий!

Я бездонное майское небо, заполненное тысячами стаями грачей.

Я натянутая кожа мертвеца, задушенного рояльной струной.

Колюнечка не слушает. Но зона моей ответственности ограничена проведением уроков, а не концентрацией его внимания. Экзаменов не будет. Поэтому терпеливо продолжаю доклад, подготовленный вчера вечером. Мне плевать, какая часть лекции осядет в пухлощекой головке избалованного огрызка.

Рассказываю про меридианы. Рассказываю про Васко да Гама и «Кон-Тики». Рассказываю про вымирающих амурских тигров. Рассказываю про стратосферу. С таким же успехом я мог бы поведать Колюнечке историю, позавчера услышанную от Чумы...

– Год назад, – скажу я щенку, мысленно представляя, как Себастиан раскрывает свой верный складной нож, – в одной

деревушке, что под Тверью, дагестанец зарезал русского. На-
смерть и жестоко.

Гитлер подойдет ко мне со спины, внимательно впитывая
каждое слово.

– Может, русский был по зенки залит горькой, – продол-
жу я, глядя на Колюнечку, которому нет дела до официаль-
ной общеобразовательной программы, – но суть не в этом.
Суть в натуре человеческой, а она иногда, старичок, испол-
няет такое... В общем, тема тогда актуальной была...

Доверительно, как Чумаков всем нам, – расскажу я маль-
чишке:

– Деревня сразу поднялась. Кавказцев бить начали, ларь-
ки жечь. До пальбы дошло. Ввели, как нынче полагается,
спецназ и усиленные отряды ментов. И вот тогда-то детдом
и вспыхнул.

Страж дома нависнет над моим плечом, а глуповатый Ко-
люнечка даже заинтересуется. Оторвется от игрушки и впе-
рится в репетитора блестящими глазенками, наконец-то слу-
шая по-настоящему.

– Старый детдом был. Ветхий и аварийный, – продолжу
я, чувствуя шеей холод клинка, – из областного центра ту-
да детей свозили, а денег на ремонт не давали. Вот и полых-
нул. Да только не сам по себе. Мужик, предварительно заму-
ровавший двери, находился там все время. Пока не рухну-
ла кровля. Местный он был, диковатый, но тихий. Никто бы
и подумать не мог... Некоторые говорят, во время пожара он

себе болт полировал. Некоторые, что кайф по вене пускал. Были даже те, кто про игру на скрипке заикались, но это уж точно бред. В общем, прогорел детдом. И никто даже не дернулся – все были заняты подавлением волнений. А мужик этот, сорок двух ребятишек и семерых взрослых на тот свет отравив, отправился дальше по земле русской...

Я могу рассказать это. Но не стану.

Колюнечка играет с пультом. Мальчик совсем отвлекся от историй про ЮАР и колонизацию Исландии. Яростно накручивает джойстики. Язык высунут изо рта, тянется ниточка слюны, глазки горят. В просторную комнату с мелодичным жужжанием влетает игрушечный вертолетик. Мощная машинка, недешевая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.